

«МИХАЙЛОВ ДЕНЬ»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САЙТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ г. КИНГИСЕППА

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮБОЕ КОПИРОВАНИЕ
и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ в ПЕЧАТИ!**

РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ из НАСТОЯЩИХ
ВОСПОМИНАНИЙ ДЛЯ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ССЫЛКОЙ.

© Публикация С.Г. Зирина

ОТ РЕДАКТОРА С.Г. ЗИРИНА: публикуемая машинописная рукопись воспоминаний штабс-ротмистра Рафаила Рафаиловича Петрова (1894-1960, Сан-Пауло) посвящена его службе в Русской Армии в годы Первой Мировой войны и насчитывает примерно 120 страниц, незначительное число которых написаны автором от руки и отмечены как дополнительные вставки в основной текст воспоминаний. Копия экземпляра рукописи любезно предоставлена для первопубликации в МД Ириной Александровной Мухановой и Мариной Александровной Гершельман (Буэнос-Айрес) из архива своего отца полк. А.С. Гершельмана и имеет следующую дарственную надпись на отдельном листе сослуживцем автора воспоминаний ротмистра В.Е. Скоробогача (1894-1969, Буэнос-Айрес): «Дорогому Алексею Петровичу бар. Врангелю на память от Скоробогача, Б.- Айрес Май 1965». Фотопортрет Р.Р. Петрова из личного архива протоиерея Константина Бусыгина (Сан-Пауло). Автор рукописи посвятил свою работу родному сыну, служившему офицером в годы Второй Мировой войны в 1-й роте 1-го полка Русского Охранного Корпуса на Балканах. Отец автора воспоминаний, также Рафаил Рафаилович (1856-1920), военный инженер, служил в Русской Армии ген. бар. П.Н. Врангеля, в 1920 году остался в Крыму, был захвачен красными и убит ими в Ялте. Воспоминания выстроены автором в хронологическом порядке и разделены на главы, по времени его службы в различных полках Русской Армии. Публикация воспоминаний осуществляется с продолжением в последующих выпусках МД, что не нарушает и ни умаляет целостность и ценность рукописи.

После окончания Второй Мировой войны в конце 1940-х годов большая часть русской политической эмиграции стремилась переехать на новое местожительство из оккупированных стран Западной Европы в государства Северной и Южной Америки. Вследствие войны и массового переезда был нарушен специфический уклад жизни первой волны русской эмиграции, отчасти с трудом налаженный в лагерях Ди Пи. Были утрачены связи, разъединены семьи, перестали выходить многочисленные периодические издания и книги, вследствие чего Р.Р. Петров в своем предисловии справедливо сетует на отсутствие обнародованных воспоминаний рядовых участников Первой Мировой войны. Но вместе с тем важно отметить, что по сведениям редактора журнала «Часовой» капитана В.В. Орехова с 1917 года на чужбине вынужденными русскими эмигрантами издавалось около одной тысячи периодических изданий, к 1931 году выходило до 180 изданий русской периодики¹. При всем желании русскому эмигранту невозможно было выписывать, или вычитывать весь этот огромный массив русской печати. Вполне возможно, что на страницах данных изданий были опубликованы различного рода воспоминания, в том числе и рядовых русских воинов. Число вышедших из печати брошюр, памяток и иных книжных изданий на чужбине не поддается подсчетам. Так, например, в 1937 году в Эстонии генералом Э.А. Верцинским был издан второй сборник воспоминаний стрелков Лейб-Гвардии

¹ Часовой, 1979, №617 (2), февраль-март. С.17.

стрелкового Царскосельского полка, в котором были напечатаны яркие воспоминания ефрейтора из вольноопределяющихся о первом бою полка в августе 1914 года ².

Свои мемуары Рафаил Рафаилович начал писать в Югославии, окончив первую часть рукописи к 1940 г., и продолжил уже по приезде своем в Бразилию в конце 1940-х гг.

По прошествии времени, еще при жизни автора, появилось определенное число мемуаров, опубликованных как на страницах периодики, так и изданных брошюрами и книгами в Русском Зарубежье. Сегодня пласт обнародованных, как на чужбине, так и в РФ, рукописей русских воинов - вынужденных эмигрантов, представляет широкую и богатую палитру.

Слог и стиль авторского повествования часто изобилует простонародным языком, что обуславливается годичным пребыванием Рафаила Рафаиловича в гуще солдатской среды, бытующее просторечие в которой наложило на него свой отпечаток. Настоящие воспоминания рисуют окопную правду Великой войны 1914-1918 гг. изнутри. Для нас важен и ценен взгляд рядового солдата (по сути вольноопределяющегося, отказавшегося от очевидных привилегий военной службы для данного сословия) запечатлевшего атмосферу, быт, суровые будни и реалии боев 1914-1917гг. в Галиции и Карпатах с австро-венгерскими и германскими войсками. К сожалению, в распоряжении редакции МД находится лишь первая часть воспоминаний Р.Р. Петрова, второй части мемуаров об участии автора в Белой Борьбе в годы Гражданской войны в России пока обрести не удалось.

В рукописи редакцией МД произведено некоторое упорядочение, соответствующее авторскому хронологическому повествованию. К примеру, абзацы воспоминаний о службе в Дагестанском полку из текста предисловия перенесены в главу об одноименном полку.

Краткий Послужной список и копии документов, приложенные автором к своим воспоминаниям, смотрите в рубрике «Русские Воины Материалы к биографии».

Рафаил Р. ПЕТРОВ (Белград / Сан-Паулу)

ШЕСТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ 1914-1920 гг.

Моему сыну, подпоручику Русского Корпуса

Рафаилу Рафаиловичу Петрову, на память об отце



ПРЕДИСЛОВИЕ К ПРЕДИСЛОВИЮ

Не имея, можно сказать, настоящего, надеясь только на лучшее будущее,- мы невольно обращаем свои мысли на свое прошлое и сожалеем только, что знаем о нем слишком мало. Что, например,- мы, знаем о прошлом Русской Армии,- о тех миллионах людей, которые устлали своими костями всю Европу и Азию и создали нашу Империю?

О Войне 1812 года, кроме официальных данных лишь один участник оставил кое-какие записки – партизан Денис Давыдов; «Войну и мир» нельзя считать документом, так как Л. Толстой участником Отечественной Войны не был.

Поразительно, что из сотен тысяч офицеров – участников I-й Мировой войны только единицы оставили память о своей части и о том, что они сами видели и пережили. Лишь моряки оказались на высоте. Только о нашем флоте есть литература: талантливая и обширная, а об армии, можно сказать, что нет почти ничего. Из всех артиллеристов один Беверн «6-я батарея»; из кавалерии и казаков –

² **Ревенков В.С.** Первый бой. Воспоминания Царскосельского стрелка, в кол. сб.: «Памятные Дни. Из воспоминаний Гвардейских стрелков [Выпуск] 2-й. Под редакцией ген. Э.А. Верцинского». Таллинн, печатано в типографии И. и А. Пальман, 1937. С.68-81.

Краснов, Галич и Гоштовт; из пехоты – Попов «Лейб-Гренадеры» и Деникин.³

Об училищах и корпусах тоже почти ничего в литературе нет. Павловское училище – Краснов; Николаевское Кавалерийское Галича; «Кадеты и звери» - Вадимова; Александровское училище – Куприна. Причем у того же Куприна описание пехотного полка поражает такой предвзятостью и подтасовкой отрицательных фактов, что каждый русский офицер может поклясться, что такого полка в действительности не существовало.⁴

Возможно, конечно, что существуют неизданные записки. Тяжелые материальные условия в эмиграции, ограниченность круга читателей не давали возможности многим издать свои труды. Об этом приходится очень пожалеть теперь, и еще более пожалеют наши потомки, когда их заинтересует пережитая нашим поколением страшная эпоха.

Р.П.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Война – ужас.

Это самое точное определение, какое я могу сделать. Не только современная война – бойня, когда орудия разрушения достигли степени угрожающей целостности всего земного шара, но и, Первая Мировая война, в течение которой еще соблюдались законы человеколюбия, и та породила озверение, падение морали, упадок культуры.

Это все истины всем известные, но есть еще одно бедствие, причиняемое всякой войной, которое может быть даже еще не вполне осознано человечеством: на войне в первую очередь гибнут лучшие люди страны, наиболее самоотверженные, люди верные долгу и присяге, самый ценный элемент каждого государства.

Может быть – это не лестно для нас – уцелевших, но сомневаться в этом не приходится. Лучшие люди гибнут, худшие остаются. Памяти этих лучших людей, моих соратников, доблестных Русских воинов, за благо своей Родины Живот свой положивших – я посвящаю книгу моих воспоминаний.

Если Господу Богу, вопреки здравому смыслу и всяким теориям вероятности было угодно сохранить мне жизнь до сего дня, то я чувствую, что это обязывает меня хотя бы мысленно возложить венок на их безвестные могилы.

Ш е с т ь лет войны – шесть лет предельного напряжения физического и нервного. В трудные минуты меня поддерживала только глубокая вера и основанный на вере непоколебимый фатализм. Верующим я был еще с того времени, когда мама крестила меня моей рукой, и я повторял за ней: «Господи помилуй папу и маму, Мишу, Володю и Вафу». Я не мог выговаривать букву «Р» и вместо Рафа, говорил Вафа.

Уже к старости, вспоминая свою жизнь, я понял, почему еще мальчиком, как это ни странно, я сам, этого не осознавая, стал убежденным фаталистом.

В 1906 году, когда мне было 12 лет, умер мой старший брат.

Мы были в деревне во время революции 1905 года и в это время в Москве ограбили нашу квартиру.

Старший брат, он был на десять лет старше меня, поехал туда, переночевал в нетопленной квартире и схватил воспаление легких, сразу перешедшее в скоротечную чахотку. Зимой и весной он пробыл во Франции на Ривьере, летом вернулся в Москву и на даче в Сокольниках скончался.

Отец мой, служивший в Варшаве, приехал к нам и после похорон, мы с ним втроем (мама осталась в Москве) поехали в свое именье – село Маковцы Медынского уезда Калужской губернии.

³ Автор допустил опisku в фамилии, правильно: **Веве́рн Б.** 6-я батарея, 1914-1917 гг. Париж, 1939; **Гоштовт Г.А.** Дневник кавалерийского офицера. Париж, 1931; Он же: Каушен. Медон.- Париж, 1931; Он же: Кирасиры Ее Величества в Великую войну. В 3-х томах. Париж, 1934-1942; Автор, вероятно, имел в виду **К. Попова**, автора книги «Записки Кавказского гренадера» (Париж, 1920-е гг.; об этой книге в печати был опубликован восторженный отзыв А.И. Куприна) и его книгу «ГГ. Офицеры». Париж, 1929; **Деникин А.И.** «Очерки Русской Смуты».

⁴ **Куприн А.И.** «Юнкера». Далее речь идет об известной повести А.И. Куприна «Поединок», в которой, по мнению многих современников, были сгущены краски в описании образов русских офицеров и отображена преувеличенная унылая и гнетущая атмосфера полковой жизни.

Вскоре после приезда, мы решили помыться в бане. Дом наш стоял на горе, оттуда шел спуск к ручейку, за которым тоже на горе была деревня. На полдороги до ручейка был колодезь и около него баня, старая изба метров 6 на 6 квадрат. С крыльца дверь вела в сени, откуда она дверь была прямо в баню, а другая в предбанник. Из предбанника тоже дверь вела прямо в баню. Вся постройка была старая, крупного леса. Лавки были с полметра шириной и даже не струганные, а тесанные, как это делалось только в незапамятные времена.

Часов в 7, уже к вечеру, когда баня натопилась, мы трое собрались идти. Белье взяли, а таз и мочалку забыли. Вспомнили об этом уже почти у бани и папа и Володя вернулись, а я пошел в баню и начал раздеваться. Было совершенно тихо, уже начало темнеть. Вдруг в бане совершенно ясно, почти громко раздался как будто стон: как будто человек громко вздохнул – застонал.

Я всегда был отчаянным мальчишкой, не боялся никаких привидений, ездил на станцию по ночам один встречать или отвозить наших гостей.

Я открыл дверь в баню и заглянул туда: было почти темно. Все тихо, жарко и пахло вениками. Я закрыл дверь, и только что собрался снимать белье, как в бане застонало во второй раз.

Возможно, что недавняя смерть старшего брата повлияла мне на нервы, но мне стало как-то жутко одному в темной бане, где ясно слышны человеческие стоны. Я повернулся к двери, чтобы выйти на крыльцо и подождать папу и Володю, когда в бане грохнуло так, что все загудело.

Я вылетел к колодцу и увидел, что с горы бегут мои услышавшие по дороге грохот. В бане провалились две балки два шестиметровых бревна, на которых лежал потолок, не из досок, а в полбревна плахи. Сверху было на четверть метра земли. Цинковая ванна была сплющена в лепешку. От стены плахи упали концом на 2-х дюймовую доску лавки и скололи кусок во всю длину. Дверь из бани в сени слетела с петель, и две плахи вылезли оттуда. Непонятно, как я успел в этот момент проскочить мимо.

Смерть прошла мимо нас, так сказать, на расстоянии одной двух минут и я это почувствовал. Можно сказать, что спасли нас таз и мочалка.

На Рождественские каникулы я часто ездил к своей тетке, тете Соне, княгине Мещерской. Я ее очень любил, и, кроме того, меня привлекала охота. Обыкновенно на Рождество, мой двоюродный брат Саша Мещерский¹, отставной офицер, служивший Земским начальником, устраивал облаву на лосей, а я, кроме того, еще целыми днями гонялся за зайцами.

Имение тетки было в южной части Московской губернии в Верейском уезде, около деревни Родиончиково. Леса там дремучие, казенные и частные: имение тетки находилось в лесу, волки зимой лезли прямо в сени. Одного волка Саша поленом бил в сених, но тот все же выскочил.

Однажды мы ехали ночью, откуда-то вдвоем с ним верхами. Уже подъехали почти к воротам усадьбы, когда вдруг видим впереди штук 5-6 не то коров, не то коней. Брат выстрелил из нагана, но «кони» шарахнулись с дороги, и пропали в темноте. Это были лоси.

Первая моя охота на лосей окончилась конфузом. Мне было лет 10–11. Собралось порядочно народа. Переночевали у тетки, а перед рассветом выехали на розвальнях на обложенное место. Там был один лось. Брат дал мне свой винчестер, и я считался тоже охотником. На рассвете расставили охотников по номерам и меня поставили, конечно, на самый невероятный номер куда, по расчетам, лось пойти не мог.

Рассвело. Утро чудесное, снег нетронутый, все блестит, летают снегири и синички. Я, в белом халате, сижу на пеньке и блаженствую: во-первых, я совсем как «большой» охотник – это моя первая охота, а во-вторых, уж очень хорошо и красиво зимой в лесу.

Сижу я на прогалинке. Сзади осиновый лес, а впереди осиновый, густой молодняк, прямо непроходимая чаща. Слышу, как будто впереди в осиннике какой-то треск, потом стихло. Снова треск и снова тихо. Я, было, насторожился, как вдруг из осинника, как высунется башка с рогами аршина в три. Наверно со страху, мне еще больше показалось. Я, как был, повалился с пенька навзничь, закрыл глаза, винчестер держу в руках и с перепуга ничего не слышу и не вижу. Пришел я в себя только тогда, когда мой брат поднял меня на ноги. Уж он ругал меня, ругал, грозился на охоту никогда больше не брать.

Лось прошел шагом в полутора аршинах от меня и даже никакого внимания не обратил.

Это рассказываю между прочим, а когда мне было 14 лет, то я попал вместо зайца на волчью свадьбу и не только я, но и старые охотники поражались, как меня Бог спас.

На Новый Год брат поехал с визитом к соседнему помещику, коннозаводчику Ползикову. Звал меня с собой, но мне хотелось погонять зайчишек по пороше. Подвез он меня версты три на санях, а потом я вылез, надел лыжи и брат на прощание говорит мне: «Заодно, раз идешь в эту сторону, посмотри следы, мужики говорили, что там-то и там-то ходит волк».

Волки обыкновенно, как проторят себе дорогу, так и ходят все по одному и тому же пути.

Помню, убил я зайца уже в лесу. Леса там хвойные, елки местами прямо мачтовый лес: прямые, как стрелы и толщиной в 2-3 обхвата. Нашел я и волчий след. След очень ясный, свежий, мне показалось, что уж очень большая лапа, но думаю, ходит по одному и тому же пути, и растоптал сам. Пошел я по следу, по ходу волка в лес. Еще стрелял по лисице, но не попал и, в общем, увлекся так, что уже дело к вечеру и мне пора домой. Начинаю соображать и вдруг выхожу на свой след и на моей лыжне волчья ступня и ясно, что не одного волка. Тут-то меня и осенило: впереди меня идут волки, крутят петли и здесь перешли через мой след.

Я испугался. У меня было два патрона с пулями, а остальные все дробь-зайчатник. Я в обратную сторону, натыкаюсь опять на свою лыжню, волки крутили и я за ними. Направление потерял окончательно и уже темнеет, даже запада не могу точно определить. В лесу уже сумрак. Думаю, что делать? Волки, где-то близко. Лезть на ель и сидеть до утра – замерзнешь. На мне даже не полушубок, а куртка на вате. Мороз по ночам бывает до 18-20 градусов. Все же взял я решительно направление и пру рысью. Надеюсь только на Господа Бога. Так я пер не мало, когда вдруг, как-то неожиданно выскочил на опушку. От леса спуск и далеко – версты 3-4 огни – село. Тут уж я перекрестился от души. Это было село Назарьевское, верст 15 от Родиончикова. Ночью меня мужики привезли на санях домой, и больше уж я так бродить к вечеру закалялся.

После выяснилось, что я шел за волчьей свадьбой. Всего было 7 волков. Единственное объяснение тому, что я остался жив такое, что волчиха чуяла стреляное ружье и уводила стаю от меня.

В Верейском уезде леса идут на десятки, если не на сотню верст непрерывно, а волков столько, что году в 1902 на Верейском шоссе они сожрали урядника. Ехал он вечером с молодой женой в гости на санках. Выскочило на них штуки 2-3 волков. Урядник из револьвера убил одного и сдуру хотел взять на шкуру. Он вылез из саней, а жена держала возжи. Взял он волка, но когда подошел к саням, молодая горячая лошадь со страху рванула и понесла. Жена удержать не могла до деревни. Когда прискакали мужики на санях, то на этом месте нашли только револьвер, а от урядника и убитого волка только кровь на снегу.

После таких происшествий можно стать фаталистом и в 14 лет. Возможно, что впоследствии на меня еще повлияла служба с мусульманами в Дагестанском полку.⁵

Если даже мне никогда не удастся издать мою книгу, то пусть хотя бы внуки мои прочтут ее.

Они смогут сделать два вывода: во-первых, что их дед никоим образом не мог пожаловаться на однообразие своей жизни и на отсутствие впечатлений. Судьба трепала меня так, что и на трех дедов хватило бы. А во-вторых, что, не говоря уже о кадровом офицерстве, все-таки не вся русская интеллигенция работала на разрушение своей Родины.

Мои сверстники, молодые офицеры, выдержали 6 лет тяжелой войны – две проигранные кампании и громадный процент их пожертвовал своей жизнью.

Если бы русская интеллигенция в массе приложила хоть одну десятую часть этих усилий в борьбе с большевизмом – Россия была бы жива, и мы были бы Русскими, а не “Nacionalidade in definida” – не выясненной национальности, как это написано в моем Бразильском паспорте.

⁵ Следующий абзац в тексте рукописи посвящен воспоминаниям автора о времени его службы в Дагестанском полку, следуя хронологии повествования, перенесен редакцией МД в означенную главу для публикации в третьей книжке журнала.

Вопреки сложившемуся мнению, не вся Русская Армия перестала существовать, поддавшись революционной пропаганде.

Мне пришлось служить в частях, которые сохранились полностью после большевицкого переворота и впоследствии были уничтожены в боях силой оружия.

Справедливость требует, чтобы для истории сохранились сведения об этих доблестных частях единственных частях, не поддавшихся общему развалу и до последнего дня сохранивших верность долгу и присяге.

Части эти: Дагестанский Конный полк, входивший во время войны в состав 3-й Кавказской казачьей дивизии; 2-й Дагестанский Конный полк Кавказской Туземной дивизии и отряд генерала Бичерахова, состоявший из пяти партизанских сотен, выделенных из 5 полков 1-й Кавказской казачьей дивизии: Горско-Моздокской Терского Казачьего Войска и 4-х сотен Кубанского Казачьего Войска: Линейной, Уманской, Хоперской и Запорожской; взвода горных орудий; пешей пограничной сотни и взвода [неразборчиво].

Между прочим, одной из причин, побудивших меня написать настоящие записки, было желание, в противовес известной книге Ремарка «На Западном фронте без перемен», дать образ русского студента, попавшего прямо со школьной скамьи на войну в русскую солдатскую среду. За какие-нибудь несколько месяцев из студента Московского университета меня превратили не только внешне, но и внутренне в настоящего кавалерийского унтер-офицера. «Чудо этого превращения» совершили не какие-нибудь волшебники или глубокие психологи, а самые простые русские кавалерийские унтер-офицера и одним из первых, преподанных ими наставлений, было действительно необыкновенное по своей мудрости: **«Если у тебя когда-нибудь будет в подчинении хотя бы один солдат, помни, что ты отвечаешь за него перед Богом, перед начальством и перед своей совестью».**

Насколько я знаю, это изречение не написано нигде, но именно его бы следовало положить в основу всему военному обучению всех армий мира. Тоже насколько я знаю, обучение Германской армии этим принципом не руководствовалось, этим объясняется в значительной мере разница в мыслях у меня и у Ремарковского героя.

31 января 1949 года
Сан-Пауло, Бразилия.

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

6-й Запасной полк, 1914 год

Лето 1914 года наша семья: мама, я и младший брат провели, как всегда у себя в деревне в селе Маковцы, Медынского уезда Калужской губернии.

Я был студентом Московского университета, а брат только что поступил в Московское Императорское техническое училище. Лето проходило, как всегда, в хозяйственных работах и хозяйственных заботах.

В нашем скромном хуторском хозяйстве я работал сам вместе с нашим единственным постоянным рабочим, и скучать или интересоваться, чем-либо посторонним было просто некогда. Я не был «баринком-белоручкой». Любил и знал всю сельскую работу, привык к труду, любил и знал лошадей.

Вдруг, в один прекрасный день, приезжает к нам урядник и объявляет, что приказано вести лошадей на мобилизацию. На вопрос, по какой причине это приказано, он ничего толком не мог ответить, но сказал, что есть слухи, будто будет война, а с кем неизвестно, может быть с немцами, а может быть и не с немцами.

Мне было в то время 20 лет. Я много занимался спортом, да и сельская работа развила во мне силу и выносливость. В детстве, правда, я очень много болел. Умирал, буквально, от перитонита: в 1912 году разбился на трамплине на лыжах так, что у меня начался туберкулез позвоночника, но, видимо, как говорили доктора, необыкновенная выносливость организма переборола все это.

Думаю, что последствия всех моих болезней освобождали меня вообще от военной службы, но мне было тесно в нашем тихом углу, я чувствовал себя вполне здоровым, и считал, что мой долг идти защищать Родину и показать пример тем, кто будет колебаться, как поступить.

Отец мой инженер путей сообщения, служил в Варшаве. Советоваться с мамой я не хотел, зная, что она, конечно, будет меня удерживать. Подумал сам еще раз и решил, что должен идти. Брат мой, Володя, на 2 года моложе меня пусть останется дома. Сидеть в университете и ждать пока заберут, мне казалось недостойным. Не сказав ничего матери, я поехал в Москву и пошел в университет брать свои документы. Громадная очередь студентов стояла по всему двору и по Моховой. Я ждал часа два, пока очередь дошла до меня. Нам всем объявляли, что мы будем исключены из университета, многие негодовали и спрашивали, как будет по возвращении.

Потом уже я слышал, что был Высочайший приказ всех студентов ушедших охотниками – числить в списках до возвращения. Но, тогда этот вопрос меня совсем не интересовал, я как-то почувствовал, что уйду безвозвратно, и все равно старое положение не вернется. В первые дни войны в Москве большое количество студентов ушло охотниками. Особенно – это было заметно по спортивным клубам, там остались буквально «старые да малые», а весь цвет, в большинстве студенты, ушли почти поголовно. Видимо из молодежи того времени спортсмены были настроены наиболее национально, так как с первого дня приезда в Москву большинство встретившихся знакомых и сверстников не спортсменов мне в глаза говорили, что я дурак, и выражали недоумение, зачем и для чего я иду на войну.

Получив документы, я поехал к воинскому начальнику, куда-то очень далеко на окраину города, кажется к Рогожской заставе. Это было, так сказать, мое первое знакомство с военной службой. Громадный двор, заполненный тысячами запасных и охотников, шум, крики, местами ругань. Запасные производили хорошее впечатление. Некоторые партии, уже обмундированные, тут же на дворе обедали, и у них был спокойный деловой вид.

Довольно странный вид был у очереди охотников. Тут были резко выделявшиеся три сорта людей: молодежь – мастеровые и много настоящих хитрованцев⁶ лет 18-20, студенты всех высших учебных заведений Москвы, и, – третья категория, – какие-то странные молодые люди, одетые неплохо, но на вид, какие-то недоучки или неудачники, которые шли на войну, вероятно, из интереса и, желая «выказать геройство». Мастеровые и хитрованцы шли в пехоту, студенты почти поголовно в артиллерию, только один высокий худой техник, стоявший в очереди передо мной, записался в пехоту. Неопределенные молодые люди шли большинство в кавалерию, надо полагать, выбирая самый «благородный» род оружия. Я сам много думал над тем, какой род оружия мне избрать, советовался даже со своим двоюродным братом Подполковником князем Мещерским, ныне расстрелянным в числе 20-ти с князем Долгорукиком². Саша Мещерский служил в Японскую войну в Нежинском пехотном полку и был для меня авторитетом во всех военных вопросах. Он советовал мне идти в артиллерию и приводил множество самых убедительных соображений в пользу этого, но мне всегда была милее конная служба, и это мое личное влечение перетянуло. Когда я подошел к столу, протянул старенькому Подполковнику свои документы и сказал: «В конницу», тот взглянул на меня поверх очков и поправил: «В кавалерию, молодой человек, извольте на весы». Он еще раз поглядел на меня поверх очков, когда меривший меня солдат крикнул: «2 аршина 8 $\frac{3}{4}$ и 5 пудов 18 фунтов» - протянул: «Так, так, молодой человек, послужите Царю и Отечеству: явитесь через три дня на отправку в Борисоглебск в 6-й Запасной кавалерийский полк».

Теперь мне предстояло обдумать, что купить. Я знал, что в переметные сумы много не уложишь и что нужно взять только то, что полагается иметь солдату. Хотелось принять сразу воинский вид. Я пошел и купил защитную фуражку, гимнастерку, шаровары, пояс и брезентовый халат. В тот же день я поехал обратно в деревню попрощаться со своими

Мой приезд в солдатском виде был для мамы громом среди ясного неба. Она плакала все три дня, пока я был дома, говорила мне, что в охотники идет всегда только разный сброд, и что нас погонят в самое пекло. Относительно состава охотников, моя бедная мама была более или менее права, а относительно того, что нас «погонят вперед», я успокоил ее, сказав, что назначен в Борисоглебск в 6-й Запасной полк, и когда-то в будущем попаду на войну. Добавил еще, что может быть и война скоро кончится. Это мнение, между прочим, было тогда очень распространено, но у меня лично сложилось

⁶ Хитрованцы, хитровцы – название жителей исторической Хитровки, местности на востоке центральной части Москвы, между Яузским бульваром и улицей Соляной, названной по фамилии отставного генерал-майора Н.З.Хитрово, который в 1823 г. приобрел здесь участок земли для рынка (Хитров рынок). После смерти генерала рынок преобразовался в уличную «биржу труда» для сезонных рабочих, окружающие переулки застроились ночлежными домами, трактирами, чайными – образовав знаменитые хитровские труппы.

убеждение, что началось, что-то грандиозное, что равновесие в мире нарушено и последствия будут предвидению не поддающиеся.

Перед отъездом в деревню, уже одетый в форму, я подошел к старинному дедовскому зеркалу, всегда стоявшему у нас в гостиной и долго смотрел на себя в таком непривычном виде. Мне показалось, что у меня грустный вид и, не будучи в состоянии точно выразить своих мыслей, я сказал вслух: «Не вернусь я сюда больше». Своему двоюродному брату Саше Мещерскому, прощаясь с ним, я сказал тоже более или менее пророческую фразу: «Что убьют – я не боюсь, - страшно, если изуродуют, а жаль, если не доживу до конца и не увижу, чем это все кончится».

Никогда не забуду того момента, когда я поцеловался с мамой, с братом и со всей прислугой, сел на телегу вместе со Станиславом, нашим старым и единственным рабочим в усадьбе, и мы тронулись. Посмотрел я в последний раз на наш старый дом, на круг сосен во дворе на выездную аллею из акаций, образовавших свод над головами, почувствовал, что уезжаю навсегда, и слезы навернулись у меня не глаза.

У воинского начальника собралась партия охотников, человек 60. Нам выдали документы, и мы зашагали на вокзал. Шли гурьбой по мостовой. Тащили чайники, узлы и котомки. Дали нам два вагона 4-го класса, и мы двинулись. Ехали долго – дня 2. Брали кипяток на станциях, пили чай с баранками, курили махорку и орали песни. Спутники мои были народ аховый. За исключением двух человек, это были мастеровые с примесью хулиганья с Хитрова рынка. Опасаясь, чтобы не обчистили карманы, пока я сплю, я держался сторонкой, и мы спали втроем в углу с некими Савченкой и Зуевым. Савченко был очень славный, вполне культурный человек лет 30, серьезный и спокойный. У него был вид, как будто какая-то неудача в жизни заставила его бросить свое дело и пойти в солдаты. Другой мой спутник был типичный купеческий маменькин сынок, белоручка, несимпатичный и неприветливый. С Савченкой мы видались после в Борисоглебске, когда его назначили в 11-й Рижский драгунский полк, а с Зуевым пришлось, к сожалению, познакомиться ближе, так как мы попали вместе и в Запасном полку и в Белорусском были в одном взводе.

В Борисоглебске нас разбили по маршевым эскадронам, выдали обмундирование, и я очутился в слободе Солдатской в 3-м взводе 3-го маршевого эскадрона 7-го Гусарского Белорусского Императора Александра I полка.

Получил я шинель, защитный мундир с кожаными пуговицами, синие шаровары, как называли гусары «штаны» с ударением на «А», летнюю гимнастерку с погонами сверху защитными, а снизу белыми, защитную фуражку с большим козырьком, громадные сапожищи и 2 смены белья и портянок. К довольствию на котле я привык скоро. Кормили неплохо, борща было, хоть лопни, да и каши полкотелка. С непривычки совершенно не хватало трех кусков сахара, а зато от двух с половиной фунтов хлеба я съедал только половину.

Первое время в эскадроне совершенно нечего было делать. Коней было мало: половина из них были дикие астраханки, которые не давались ни убирать, ни седлаться, и их водили в строю двое гусар на чумбурах⁷, чтобы приучить хоть сколько-нибудь. Когда пришел эшелон с ними, то картина была такая, что смотреть было страшно. Астраханки повыбивали доски в вагонах, сами изодрались все в кровь. Были и с поломанными ногами: они металась и калечили друг друга всю дорогу. Из вагонов их вытаскивали волоком на арканах. Насколько помню из сопровождавшей их команды, было 2 раненых. Гусары говорили: «Легче медведя поседлать, чем такого дьявола». И действительно большинство их пало и только самое незначительное количество пошло в строй. Немного позже пришел эшелон мобилизованных коней, так сказать «домашних животных». Они в большинстве были тяжеловаты, скорее артиллерийского типа, но поддавались хорошо обучению и на них мы пошли в действующий полк. В этой партии было довольно много жеребцов. Принимали мы коней в казармах Запасного полка, откуда вести к нам в эскадрон в Слободу Солдатскую версты две с половиной. Однажды я был назначен на приемку. Мне дали вести двух жеребцов и одного мерина. Кажется, вахмистр хотел меня попробовать. Я поседлал одного из жеребцов, положивши сложенную попонку и подтянув трок⁸, надел на него оголовье⁹, а двух остальных

⁷ Чумбур (военн.) – повод к походному недоузду, прикрепляемый для привязывания лошади.

⁸ Трок – подпруга, широкая тесьма для укрепления седла, попоны на лошади.

⁹ Оголовье – уздечка со всем прибором для верховой лошади или ее часть – ремень, идущий за ушами вокруг головы до удила.

пришлось вести на недоуздка¹⁰. Видя, что кони сытые – прямо играют и пугливые по виду, я связал чумбуры у крайних, сел и пошел шагом. Только что я доехал до места, где осматривали лошадей, один из наших унтер-офицеров, как крикнет на моих коней. Кони рванули с места карьером и поперли. Впереди был луг с версту шириной. Как я пропер его – я хорошо и не помню. Вспоминается только, как несся стрелой по улице слободы, и какие-то бабы шарахнулись и побежали, теряя ведра и коромысла. Среднего жеребца, на котором я сидел, я бы мог удержать, но тогда вырвались бы оба крайние, связанные чумбурами, а удержать всех троих было совершенно невыносимо. Я таким ходом понесся от казарм, что вахмистр послал двух конных меня ловить. Они нагнали меня только у самой нашей слободы, но и там кони долго носились взад и вперед и не давали себя поймать.

Взводным у меня в третьем взводе был запасной унтер-офицер с серьгой в ухе, уроженец Нижегородской губернии, служивший на действительной службе в Ахтырском полку. Большого роста, рыжеватый, нос крючком, с какой-то треугольной головой, страстный любитель пения. Во взводе было еще несколько Нижегородцев и трое из них, и я четвертый, постоянно по вечерам пели сидя на завалинке. Как-то раз взводный, слушая песню «Поехал казак на чужбину далеко», прослезился, смахнул незаметно слезинку и сказал: «Ох, и здорово же вы черти поете!», - и подкрепил от полноты чувства крепким гусарским словом.

Блаженное было время. Работы было мало: главная обязанность была дневалить на коновязи. Лежишь вечером с другими дневальными у горы тюков прессованного сена, лопаешь арбузы и играешь украдкой от вахмистра в «козла», или поешь песни. К этому времени я уже стал совсем солдатом, получил шашку №3010 и винтовку №66096.

Чтобы придать нам охотникам воинский вид и выправку, начальство выделило нас в отдельный взвод, и поставило старшим запасного унтер-офицера из персидских пограничников с Георгиевской медалью. Он страшно гордился своей медалью: получил он ее за бой с контрабандистами. Очень любил рассказывать, как это происходило, но рассказывал так непонятно, что видимо, и сам точно не знал, за что собственно был награжден. Как учитель он был очень бестолков. Однажды он объяснял нам, какие погоны у офицеров и, дойдя до генерала, сказал, что у того погон «зигзагом». Я не вытерпел и фыркнул, за что получил 2 часа под шашку.

Как я уже говорил, охотники были народ безпрокий (так в тексте - С.З.). Они, видимо ждали, что идут на войну скакать под музыку и совершать геройские дела, а убирать коней, таскать мешки с овсом и тюки с сеном, чистить картошку и поворачиваться направо и налево, было им совсем не весело. Вскоре поэтому к охотникам создалось отношение, что они обуза для эскадрона, никуда не пригодны и кроме самовольных отлучек ни на что не способны. Гусары, желая обложить один другого, говорили: «Эх ты, вроде, как доброволец». Поэтому я был счастлив, доволен, когда меня перевели обратно в эскадрон, а нашу компанию разогнали. Многие из охотников куда-то посмывались (так в тексте – С.З.) и осталась в полку только небольшая часть. Трудно мне было добиться уважения к себе. Только благодаря своей силе, выносливости и упорству характера я заслужил то, что в Белорусском полку считался – не хвастаюсь – примерным унтер-офицером. Доказательством этого служит то, что эскадрон присудил мне Георгиевский крест.

Когда летом 1915 года пришло в полк несколько крестов, и были поделены по эскадронам, чтобы сами гусары решили, кто заслужил награду, присудили мне и еще двоим, которые за переправу через Дунаец получили ранее Георгиевские медали. Начал я с тяжелой работы и много перетаскал кулей и мешков, пока гусары признали меня за «своего хлопца».

В Запасном полку со мной был еще охотник Преображенский, человек работающий и он тоже считался «гусаром», а не «охотником».

Уже из Запасного полка я написал отцу в Варшаву, просил прощения, что не посоветовался с ним перед уходом в армию, и описывал свое житье. Отец мне ответил, что я уже взрослый и могу решать сам, что он благословляет меня и что если я дослужусь, когда-нибудь до офицерского чина и получу орден Св. Владимира, то он подарит мне старый дедовский за Севастопольскую оборону. Вскоре после этого отец поехал в Петербург и устроил меня в Николаевское училище, не спрашивая моего согласия.

Между тем я чувствовал себя прекрасно в своем эскадроне, и в училище меня не тянуло. Когда меня вызвали в канцелярию и собирались отправлять в училище, я взмолился и просил писаря помочь мне

¹⁰ Недоуздук – конская уздечка без удила и с одним поводом.

открутиться. Мне посоветовали подать докладную записку о болезни, я пошел в околоток, а потом это, как-то забылось, и я никуда не поехал. Солдатом служить было, конечно тяжело, но меня пугало училище, так как я знал, что после 6-ти месячного пребывания там, я попаду на войну офицером, где ко мне и требования будут предъявляться, как к офицеру, а на деле я также не буду ничего знать, как и теперь. Ни минуты не раскаивался я в этом своем решении. Я потерял много в смысле старшинства в офицерских чинах, но зато мне моя солдатская служба дала так много опыта, знание солдата и его отношение к офицеру, и много таких тонкостей службы, которых, ни в каком училище не изучишь. Вообще я как-то не тропился на войну. Все говорили, что война скоро кончится, а я, хоть и пошел охотником, сразу усвоил принцип: на службу не напрашивайся и от службы не отказывайся, и ждал, пока пошлют. К осени стало тяжелее жить. Арбузы кончились, пошли дожди, в сарае, где я спал, было холодно и сыро, а у меня была солдатская постель: шинель сверху – шинель снизу, шинель под голову, а всего одна.

В начале осени я что-то очень заскучал. В один прекрасный день мы с Преображенским удрали самовольно в Москву. В отпуск не пускали, а съездить хотелось. Рисковали 7 днями ареста. Преображенскому не повезло – его залопали [так в тексте] и он отсидел 7 суток. Вахмистр нам позволил, сказав, что нашего отсутствия не заметит, только, чтобы не попадались.

Повидал я своих и, вернувшись с новыми силами, взялся за службу Царскую. В это время нас уже начали готовить к отправке, подбирали конский состав, выдали седла и полушубки. В полк пришли новобранцы, была сформирована Учебная команда, и я тоже был назначен туда. Тут мне досталась 10-летняя кобыла «Чистка» - рыжая, с лысиной и ноги в чулках. Это была удивительная лошадь! На занятиях я мог вообще не трогать повода, да ей всадник был вообще не нужен, она знала свое место и в смене и в строю, все команды, все аллюры, сигналы по трубе – вообще все, что должен знать солдат. Одна мука была с ней: от старости чулки у нее были желтоватые, и хотя мы выстаивали на уборке по 5 часов в день, и я даже мелом натирал, все же мне за ее «чулочки» раза два попало.

Как известно, имена коням в кавалерии даются каждый год на определенную букву. Имена на букву «Ч» даются в год войны. Таким образом, моя кобыла «Чистка» была приемки Японской войны и неудивительно, что она всю науку «произошла», как говорили гусары. Всех коней, приходящих в Запасной полк тоже надо было «крестить» на букву «Ч». Все, сколько-нибудь употребительные слова были израсходованы и вахмистра изощрялись уже в разных хитроумных комбинациях. Были, конечно: «Чемодан», «Чертополох», «Чубарик», «Чечет» и т.п. Одну кобылу приемщики-офицеры называли «Что за красавица». Она попала к нам во взвод и была такая стерва-лошадь, что гусары звали ее «Что за», совсем только не красавица!

За время пребывания в Учебной команде я разбился на барьере так, что чудом остался жив. Однажды утром команда выехала на манеж. Стояли барьеры-штанги, обмотанные соломой. Вся команда прошла благополучно, кроме головного номера. Его лошадь, хорошая вороная кобыла, легко брала барьеры, но любила закидываться и в этот день не желала видно прыгать. Тогда начальник команды осадил головного, вызвал меня и дал свой стек¹¹, приказав, чтобы я взял на его лошади барьер. Я отъехал в сторону от смены, успокоил лошадь и, когда смена прошла, пошел рысью к барьеру. Шагов за 25-30 перешел в галоп, а перед барьером дал уже карьер и послал шпорами и стеком. Кобыла в последний момент, видимо хотела закинуться и как-то дернулась направо, налево, но уже не было времени и пришлось прыгнуть. Прыгала она вообще хорошо и в этот раз вылетела намного выше барьера, но свернулась влево. Видя, что мы летим боком, я оттолкнулся, но уже было поздно и, падая, я попал под лошадь. Кобыла сломала себе ногу, и ее пристрелили. Для меня последствия были тоже не веселые. Мне смяло хрящ в носу, поранило под левым глазом, выбило все зубы слева на верхней челюсти, поранило язык и разрежало щеку глубоко изнутри. Помяло грудную клетку, правое бедро, правую коленную чашечку, сломало одну из костей в правой руке и вывихнуло правый плечевой сустав. Я лежал несколько дней без сознания. Поправился я сравнительно скоро, пролежав всего около месяца.

После выздоровления меня назначили в 1-й полуэскадрон 3-го Маршевого эскадрона, предназначенный к отправке в действующую армию. Нам было позволено выбирать себе коней по собственному желанию, и я воспользовался этим правом во всю. Меня прозвали цыганом, так как я переменял коней 6-7. Был у меня один хороший рыжий мерин, но он был так пуглив, что пришлось с ним расстаться. Я числился в песенниках и ездил с бубном, а этот мерин бубна совершенно не выносил. Мы

¹¹ Стек (англ. stick) – тонкая тросточка с ременной петлей на конце, применяемая как хлыст при верховой езде.

ездили на стрельбы на полигон версты за 4 и на обратном пути вызвали песенников вперед. Я выехал и как всегда встал впереди. Только запели, что-то веселое и я ударил в бубен, как мой конь взвился на дыбы и прыгнул вперед. Передо мной ехал запевала, унтер-офицер. Я сшиб его в сторону и конь мой грудью ударил лошадь одного из наших офицеров, Корнета Пономарева, так что та чуть не упала, и мы понеслись по полю изрытому канавами, засыпанными снегом.

Носились мы около двух часов. Только остановимся, бубен звякнет, и мы летим снова.

Одно время у меня была хорошая вороная кобыла, вершков трех росту, резвая и выносливая лошадь, но с большим норовом. Седлать ее приходилось вчетвером. Однажды она чуть не убила меня, и я не рискнул идти на ней в действующую армию.

Моя конюшня находилась на широкой улице, выходящей на дорогу, ведущую к реке. Дорога шла немного с горы и была занесена снегом. Обыкновенно, садясь на свою кобылу, я прижимал ее в угол ворот, чтобы она давала мне вставить ногу в стремя, после чего она прыгала в сторону, старалась вырваться из рук и сбросить меня с седлом. Наши седла-ленчики были совсем новые, и сыромятные ремни подпруг сильно вытягивались, село могло сползти вбок. Возвращаясь с занятий, если кобыла была не усталая и собиралась что-нибудь выкинуть, я, украдкой от вахмистра, пускал ее карьером до реки и обратно, версты 3-4. После такого пробега можно было, и слезать и расседлывать ее без опаски. Как-то раз, после учения, я не гонял кобылу, а вернулся к своим воротам, перекинул пику, как полагается на левую сторону, взялся за гривку и только хотел слезть, как она рванула вбок. Отпустившие подпруги скользнули по потной лошади, седло сползло налево, и я повис сбоку: левая рука на гривке, пика выскользнула, левая нога в стремях под брюхом. Кобыла повернулась и поперла карьером к реке. Я был при полном боевом снаряжении: с винтовкой, шашкой, в коротком полушубке и казенных, больших сапогах. Стремя было обмотано суконкой, чтобы нога не мерзла. Я дрыгаю левой ногой, но стремя сбросить не могу. Правой рукой ухватился за подпругу, и мне удалось пропустить седло под брюхо лошади, но она еще больше испугалась и прибавила ходу. Увидав такую картину, несколько человек гусар полетели за мной, но догнать не смогли. Так мы летели почти до реки и там я, уже совершенно обессилевший, как-то смог сбросить стремя с ноги, оттолкнулся и упал в снег.

К концу ноября наш полуэскадрон был окончательно сформирован. Численностью он был около 70 шашек, в основном молодые запасные и человек пять охотников, из пригодных к строю. Мы получили уже пики, подковы, брезентовые ведра саквы для зерна и другое походное снаряжение. Для практики и для развлечения я занимался тем, что собирал и разбираал выюк: шинель, попону, котелок, саквы и все содержимое переметных сум. Прodelать быстро, скатать и уложить все по уставу – дело очень не легкое. Помню, поспорил с кем-то из запасных, кто скорее соберет и я выиграл, пропили, конечно, все вместе, с проигравшим и со зрителями.

Нашим эскадрон в то время командовал Поручик Ригер³. Гусары звали его «Полоумный», и, правда, он был, какой-то шалый. То не является по несколько дней на занятия, а потом приедет и начнет учение на целый день. Один раз он гонял нас по лесам выше колена в снегу часов пять. Лошади едва дошли до дому. Из аллюров он признавал только рысь, а то галоп и карьер. Однажды в городе на громадной базарной площади он пустил эскадрон карьером в атаку. Мы прошли развернутым фронтом, а когда, перейдя на рысь, подошли к возам со всяким добром, Ригер опоздал перестроить во взводную колонну и наш правый фланг смял целую кучу горшков, корыт и лукошек. Когда шли с учения по городу и проходили мимо женской гимназии, Ригер часто приказывал запевать самые рискованные песни и наблюдал, как гимназистки краснели и разбегались.

В 12 часов ночи, в Сочельник 24 декабря было приказано поседлать и идти на станцию грузиться. Стояли лютые морозы, на вокзальном термометре было 30 градусов, и от этой цифры мне стало еще холоднее. Грузились в теплушки 6 полуэскадронов не особенно долго: Белорусский, Кинбурнский, Ольшанский, Изюмский, Рижский и Чугуевский. Вагоны здорово натопили, от лошадей воздух нагрелся еще больше. В теплушке было тесно и душно, и я почти всю дорогу ехал со своим конем. После всех перемен, я выбрал себе неплохого коня. Забыл его имя, не то «Чумбур», не то «Челкан» – мерин, вершков 3-х росту, не то бурый, не то темно-мышастой масти, которой особого названия не было. Выбирая его, я руководствовался между прочим, соображением, что его хоть совсем не чистить, все равно грязи не видно. Для солдата это преимущество не малое. Конь был крепкий, спокойный, хорошего тела, немного тяжеловат, но я не ошибся в нем, он служил мне верой и правдой, пока не убили его бедного подо мной во время Июльских боев.

Эшелон шел довольно быстро, и ничего интересного в пути не было. За это время я часто виделся с двумя охотниками из Кинбурнского драгунского полка, Серницким и Тимофеевым. Оба студенты, хорошие ребята и хорошие солдаты. С Серницким мне пришлось встречаться много позже, когда он был во 2-м Дагестанском конном полку, а бедный Тимофеев погиб от шальной пули после боя у деревни Бараньи Перетоки на Буге. Это был милый мальчик, красивый стройный блондин. В Москве перед войной громадным успехом пользовалась пара танцоров танго «Кригер и Валли». Балерина Кригер известна и сейчас, а партнер ее по сцене «Валли» был бедный Валентин Сергеевич Тимофеев, студент Московского университета.

Одновременно со мной приехали еще москвичи-добровольцы, два брата Можаровы и Скоробогач. Можаровых я знал еще по гимназии, они были года на два старше меня. Все трое были назначены в 7-й Драгунский Кинбурнский полк и ушли почти сразу по прибытии со 2-м маршевым эскадром.

По мере приближения к Польше начало теплеть. Снег лежал всюду, но таких морозов уже не было. Сгрузились мы в Люблине.

В детстве я прожил долго в Царстве Польском и облик городов и деревень мне был знаком. В Люблине война еще не чувствовалась, фронт проходил далеко. Меня интересовало, что мы будем делать после выгрузки, вылезая из вагона, я почувствовал себя очень неуютно. Послали квартирнеров и стали в деревне под Люблином совсем также по-домашнему, как стояли под Борисоглебском.

Наш полуэскадрон вели два молодых корнета выпуска 1914 года: Львов и Пономарев. Львов потом был в нашем 1-м эскадроне и мы, кажется, симпатизировали друг другу.

Выступив, до полка мы шли долго, около десяти дней. Переходы были тяжелые: метель, сильный ветер и гололедица. Один ночлег в [Краснаке? – неразборчиво], где мы стояли в казармах, кажется Донского казачьего полка, описанного генералом Красновым в романе «От Двуглавого орла до красного знамени»¹². Проходили через город Ржешов¹³, где большой мост был взорван, и провал соединяла деревянная ферма. Один ночлег особенно запомнился: стали на ночь в колоссальном сарае на фольварке. Ворота сарая отворяли вдвоем, такие они были грандиозные. Жгли костры, грели чай в котелках на пиках, за что попало от вахмистра. Спали на морозе, и я сильно продрог. Дня через два после этого ночлега, мы дошли до места назначения, и началась моя служба в 1-м эскадроне 7-го Гусарского Белорусского полка.

7-й ГУСАРСКИЙ БЕЛОРУССКИЙ ПОЛК, 1915 год ¹⁴

Часть 1-я

В Январе 1915 года Белорусский полк стоял в резерве в деревне Руже, верстах в 30-ти от фронта. Подходя к деревне, полуэскадрон подтянулся, вызвали песенников, и приняли бодрый и веселый вид. С одной стороны надо было показаться в полку молодцами, первое впечатление всегда много значит, а, кроме того, так надоело бесконечное движение по холодной погоде, что всех радовало окончание похода.

¹² Наиболее известный роман талантливого русского писателя генерала П.Н. Краснова. По мнению доктора Гарвардского университета Людмилы Александровны Фостер (автора двухтомной «Библиографии русской зарубежной литературы 1918-1968 г.г.», 17 тысяч публикаций) роман П.Н. Краснова «От двуглавого орла к красному знамени» нужно рассматривать, как правдивое отображение исторических событий, а не только как образец художественной литературы. Людмила Александровна заявляет это на основании многолетнего анализа, сравнения документальных исторических материалов с описанием исторических фрагментов в романах Петра Николаевича. См. «Наша Страна», русская монархическая газета, 1995, №2317, 7 января, с.4 (Буэнос-Айрес, Аргентина). Переиздание данного романа в РФ, в частности: Последние дни Российской Империи. От двуглавого орла к красному знамени 1894-1921, в 3-х томах. М., «Новая книга» - «Технопарк», 1996.

¹³ Ржешов – город в австрийской провинции Галиции, в долине реки Вислоки.

¹⁴ 7-й гусарский Белорусский Императора Александра I полк – Старшинство с 1803 г., полк. праздник 30 Августа ст.ст. В 1912 г. в воздаяние заслуг оказанных в Отечественную Войну 1812 года Высочайше повелено было именоваться «7-м гусарским Белорусским Императора Александра I полком». На войну 1914-1917 гг. полк выступил под командованием полк. Суковкина. Из многочисленных боев в спешном строю особо памятна штыковая атака в ночь с 5 на 6 Июля 1915 г. дер. Скоморохи под Соколом. А из конных атак отмечаются: 2 авг. 1914 г. под г. Стояновым на венгерскую конницу; 15 авг. 1914 г. ротм. Вязьмитинова (одного из первых Георгиевских Кавалеров Великой войны) у дер. Василуво на пехоту и 3 июня 1916 г. под дер. Ощевым Вол. губ., за какое дело полк был поименно отмечен в официальном сообщении Ставки. За период Великой войны в полку было 4 офицерских Георгиевских креста и 3 Георгиевских Оружия. В 1918 г. при отходе с боями из Румынии полк был окружен германскими и украинскими войсками и, по злой иронии судьбы, распушен в г. Звенигородке, Киевской губ., т.е. там же, где и был в 1803 г. вновь сформирован. Штандарт полка был тайно вывезен и скрыт. В Декабре 1918 г. в Одессе собирается почти весь офицерский состав полка и формирует эскадрон Белорусцев, который периодами разворачиваясь до дивизиона, принимает участие в Гражданской войне вплоть до эвакуации Крыма. Кадр полка проходит Галлиполи, пограничную службу в Сербии. Штандарт полка хранился до начала Второй Мировой войны в Париже. Подробнее об истории полка см.: 7-й гусарский Белорусский Императора Александра I полк. Составитель А. Изюмов // Часовой, 1929, №19-20, Ноябрь. С.16-17.

Наши офицеры и вахмистр были озабочены, оглядывали людей и седловку и, видимо, волновались, как сойдет приемка. Меня заботило только, какие квартиры, какие гусары и с кем попаду на «конюшню». «Конюшной» называется компания из 4-5 солдат, которые вместе стоят в хате, обыкновенно сообща убирают коней: один поит, другой задает корм... В боевой обстановке, когда зачастую кухни и фуража нет, и приходится все добывать самому, «конюшня» в жизни солдата - все. Стали на ночь. Один отпустил подпруги, выводил, расседывал, протер холки соломой; другой мечется, ищет сено или косит траву или клевер; третий шарит хлеба или молока по хатам; четвертый тащит мешок ячменя или роет картошку. Мне могут сказать, что это мародерство, но в оправдание скажу, что часто и жителей в деревнях не было. Начальство не разрешало, но когда люди голодные и кони не кормлены, то делало вид, что не замечает, и говорилось вахмистру: «Распорядитесь». Вот в такое-то время стоять на «конюшне» с толковыми хлопцами, значило быть всегда сытым и спокойным. Во время отступления 1915 года бывали такие тугие времена, что командирский денщик приходил ко мне и говорил: «Господа офицеры спрашивают, нет ли у тебя хлеба?». Я давал, конечно, так как «конюшня» у меня была, как говорили гусары «орлы». Мои ребята имели талант среди чистого поля или в разбитой пустой деревне, что-нибудь да разыскать, а ямы с закопанным ячменем находили прямо шутя.

Позже я научился многому, а поначалу вижу, ходит гусар по деревне и как-то притоптывает и приплясывает без музыки. Я не мог понять, а потом мне пояснили, в чем тут дело. Оказывается зерно и картошку, местные жители закапывали в ямы, а сами уезжали. Находить эти ямы, нужен был особый талант.

Еще волнующим вопросом было, какое в полку начальство, не офицеры, а взводный и вахмистр. С офицерами дела мало приходилось иметь, а если попадутся взводный и вахмистр «шкуры» или «живоглоты» - тогда беда. Гусары говорили: «Не беда коли командир собака, а вахмистр, тот живьем съест, без вести пропадешь!».

Пришли мы, спешились, постояли пока собрались командиры эскадронов, нас быстро разбили по эскадронам, потом по взводам, и попал в 3-й взвод 1-го эскадрона к взводному Максименко и вахмистру Александру Ивановичу Кочневу. Взводный мой отнесся ко мне милостиво. Это был здоровый хохол, как полагается хохлу – румяный, черноусый, веселый, запевало с хорошим тенором и заправило эскадронных песенников. Он имел 2 креста, был смелый и толковый унтер-офицер. Впрочем, впоследствии, революция сбила и его с толку. Он совсем свихнулся, стал хамить офицерам, митинговать и не узнать было прежнего, отличного солдата. Вахмистр Кочнев, надо отдать ему справедливость, сумел хорошо себя поставить по отношению ко мне. Это был сверхсрочный подпрапорщик, рыжий, маленький и очень неказистый, что называется «замухрышка», но прекрасный ездок и рубил, «как Бог». Он был строг и требователен, но, в общем, особых придирок от него гусарам не было. Ко мне он был очень требователен, но внимателен и всегда вежлив. Надо сказать, что в начале войны охотники числились рядовыми, и только позже вышло распоряжение всем имеющим права вольноопределяющихся – **нашить шнуры на погоны**¹⁵. Я шнурка не нашивал, так как считал, что на военной службе или офицер или солдат, а положение вольноопределяющегося-белоручки очень некрасиво, не приносит пользы делу, так как он еще отнимает рядового себе в вестовые. Отношение солдат к нему всегда прескверное, а офицеров, в лучшем случае, снисходительное. Быть таким «пассажиром» я не хотел и никогда никакими привилегиями не пользовался. Я служил солдатом, работал за себя и за других, горбом своим заслужил уважение солдат и офицеров. Этим сознанием я всегда очень гордился.

Несмотря на отсутствие внешних признаков, вахмистр раскусил меня сразу и с первого моего появления стал мне говорить «Вы». Я настолько отвык от этого, что это меня удивляло и даже смущало. Много позже, когда я уже был офицером Дагестанского полка, я приехал в гости к Белоруссцам, и пошел к своему вахмистру: он поздравил меня с производством, мы обнялись и поцеловались. Попили мы чаю, посидели, потолковали, и на прощание он похлопал меня по плечу и сказал: «Простите, Ваше **Высокоблагородие**¹⁶, у меня сердце радуется, какой вышел Корнет моей «подмашки». Еще позже, во время революции, мы опять стояли рядом с Белоруссцами. Я поехал к своим офицерам и зашел, конечно, и к Кочневу. Его произвели в Прапорщики, и он так сумел себя поставить, что, вопреки обыкновению, его

¹⁵ Вольноопределяющиеся, т.е. доброволец, имеющий высшее или среднее образование, позволяющее ему впоследствии претендовать на офицерский чин, имел право носить на погоне черно-оранжево-белый («романовский») шнур по свободному краю.

¹⁶ Правильное обращение к корнету «Ваше благородие». Обращение «Ваше высокоблагородие» практиковалось в отношении офицеров, имеющих звания от капитана до полковника включительно.

не откомандировали в другую часть, а оставили в полку. Мы встретились очень сердечно, но на мое поздравление с офицерским чином, он грустно вздохнул, показал рукой в окно и сказал: «Всю жизнь думал я об офицерском чине и вот удостоился, а время пришло такое, что и служить нельзя».

На «конюшню» я попал с гусарами Василием Печилиным и Андреем Шпелевым. Старшим был ефрейтор Фёдор Погодин. Печилин и Шпелев по службе были старше Погодина. Оба они были разжалованные унтер-офицеры. Дело в том, что месяца за два перед войной они дезертировали из полка в Австрию, там где-то околачивались, но, услышав, что будет война, пришли обратно и явились в свой полк. Им простили побег, но слава «штрафных» за ними осталась. Командир эскадрона их не любил, а вахмистр, прямо побаивался и избегал заирать. Гусары говорили про них, что они «отчаянной» жизни и «дерзкие солдаты». Я прожил с ними месяца три, пока за какую-то новую дерзость их не перевели: Печилина в 1-й взвод, а Шпелева во 2-й, где взводные считались более строгими. За это время я изучил их обоих до тонкости и кажется, смогу дать им подробную характеристику. Оба они были Псковской губернии (у нас в полку больше всего было псковичей, волынцев и нижегородцев). «Пскапские», как они сами себя называют: обыкновенно забияки, драчуны и охальники, но смелые и толковые солдаты. Про псковичей существует такой анекдот: «Прибыли в полк новобранцы и их разбивают по вероисповеданию. Православные в одну сторону, католики в другую. Евреи, мусульмане, протестанты – каждому указано место, а из всего строя остаются на месте два парня. Никуда не двигаются, подталкивают друг друга в бок и ухмыляются. Наконец, офицер, производящий разбивку спрашивает их: «А вы, ребята, кто ж такие, что никуда не становитесь?». «А мы, Ваше Высокоблагородие, Пскапские». Любят они выражения «ухарские»: «По колено в кровь стану, ну не уступлю». Про драку, например, говорят: «Бил, бил, ажно выспался на нем». И Шпелев и Печилин были старые солдаты, года 1912, хорошие строевики, грамотные, но своевольные и дерзкие. Это были отчаяннейшие люди в эскадроне, они всегда ходили охотниками на самые опасные предприятия. Уже при мне они получили по кресту, и приходилось только удивляться, как они вообще были живы и даже ни разу не ранены.

Кроме них, с нами стоял фельдшер Степа Дьяконов, тоже «пскапской», по прозвищу «клизтирная трубка». Он был очень неказист лицом, но страшный бабник и страшно задавался своим званием старшего унтер-офицера и своими медицинскими познаниями. Печилин и Шпелев его всегда высмеивали, и он признавал их авторитет во всех делах, кроме медицины.

Еще из гусар должен сказать несколько слов о таком Мартыне Парфеныче Бобкине и его приятеле эскадронном кузнеце Антипе Рогозове, по прозвищу «Кологур». В Псковской губернии есть секта «Кологуров»¹⁷, но был ли он действительно сектант или нет, не могу сказать. Эти два приятеля заслуживали внимания. Бобкин был типичный псковский парень: хитрый, ленивый, всегда неисправный солдат, но он имел бесспорный комический талант, всегда прикидывался дурачком и был в эскадроне всеобщим любимцем. Когда он пришел новобранцем и командир эскадрона спросил его имя, Бобкин снял фуражку, раскланялся и ответил: «Мартын Парфеныч Бобкин». Так его все и звали по имени и отчеству.

Замечательно было, когда Бобкин и Антип давали целые представления. Они шли «под ручку». Антип изображал, что он играет на гармошке частушки, а Бобкин рассказывал между куплетами, как они одеты, какие калоши, рубаха, часы, жилет, как девки стоят, и изумляются их красоте и неотразимости, и они снисходительно улыбаются. Слова частушек, к сожалению, совершенно неприемлемы для записи да они и не так важны. Весь их вид, все это представление было действительно талантливо, весь эскадрон хохотал до упада, а офицеры старались наблюдать незаметно, так как Бобкин при них стеснялся и терял половину своего юмора.

Командиром 1-го взвода был подпрапорщик Киселев, гусары его не любили, и мне он не нравился. 2-м взводом командовал подпрапорщик Горшков. Это был очень строгий, очень смелый и неглупый, довольно интеллигентный человек. Я к нему всегда чувствовал уважение. В 4-м взводе был взводным Фадеев, по прозвищу «Кошатник», человек ничем не примечательный. Для полной характеристики эскадронной «аристократии» надо еще упомянуть старшего унтер-офицера Онуфриева, эскадронного каптенармуса¹⁸. Приятель и земляк взводного Максименко, он, по-моему, отличился только после революции, когда сразу стал форменным большевиком.

Дня через два был парад и присяга нам – вновь прибывшим.

¹⁷ Правильно калогеров или кулугуров (от греч. калогер – добрый старец) – в некоторых областях России так называли представителей различных сект.

¹⁸ Каптенармус (франц.), должностное лицо в эскадроне, отвечающее за учёт и хранение оружия и имущества.

Помню, как сейчас, полк в пешем строю, священника, штандарт Белорусского полка и нас, когда мы, держа шапки на молитву, подходили по очереди, крестились и целовали холодное серебряное шитье. С этого момента мы стали уже настоящими Белорусцами.

Насколько помнится, месяца полтора пробыли мы на отдыхе в Руже и время тянулось довольно скучно. Иногда Бобкин устраивал представления, но, в общем, интересного ничего не было.

Уже незадолго до выступления на позиции, мне пришлось поближе познакомиться с офицерами нашего эскадрона. Как-то вечером заскочил к нам наш взводный и позвал меня: «Командир эскадрона приказали вызвать песенников, ты был в Борисоглебске в песенниках, пойдешь с нами петь?». Полу-приказание, полу-приглашение. Я, было, отнекивался, но Максименко уговорил, сулил, что командир обязательно водки поднесет. Мне и не хотелось, а с другой стороны хотелось поглядеть на свое начальство вблизи.

Пели мы много и пели хорошо. Уже в конце вижу, командир подзвал Максименко и спрашивает что-то, кивнув в мою сторону. Максименко что-то докладывает. Командир позвал меня и спросил, кто я такой. Я доложил все как полагается. Этим началось мое, «знакомство» с офицерами. Они все относились ко мне очень приветливо и внимательно. Много раз звали к себе, я это очень ценил, но меня очень стесняло, когда бывали офицеры других эскадронов. Я сравнительно редко позволял себе такое удовольствие, считая, что солдат должен знать свое место, быть в эскадроне, не порывать с гусарами, что неминуемо для вольноопределяющегося, живущего с офицерами.

Командиром 1-го эскадрона был ротмистр Ратомский-Кмитто⁴. Он был строгий командир, смелый, спокойный начальник и высоко порядочный человек. Гусары его очень любили и боялись, как огня. Вахмистр поймает гусара на какой-нибудь провинности и кричит: «Командиру доложу!». Гусар балдеет и после ругается: «Ну, дал бы дьявол в скулу, а то чего же командиру докладывать». Гусары звали его «Наш Кмит». Когда он был убит и за повозкой с его телом шел без шапок эскадрон, многие плакали и говорили, что не будет у нас больше такого командира. Мне Кмит говорил всегда: «Ты, молодой», не редко приводил к себе в хату и наливал стопку коньяку. Я знаю, что он относился ко мне очень сердечно и ценил во мне именно то, что я солдат.

С офицерами в это время жил вольноопределяющийся Анцыферов. Он имел вестового и вел у офицеров хозяйство. Все гусары относились к нему пренебрежительно, а Кмит его терпеть не мог, говорил ему «вы», а за глаза называл «полупочтенным».

Кмит был большего роста, полный, с большими рыжеватыми усами с подусниками – типичный гусарский Ротмистр. Как живой стоит он перед моими глазами в своей кожаной куртке со стэкком в руке на своей рыжей кобыле, каким я видел его в последний раз. Царство ему Небесное! Он был мне подлинным отцом-командиром, и я его всегда искренне любил и глубоко почитал.

Младших офицеров в эскадроне было четверо: штабс-ротмистр Волков⁵, корнет Нечаев⁶, корнет Львов - все ныне здравствующие; и поручик Натензон⁷, погибший в Киеве при большевиках.

С поручиком Натензоном мне больше всего пришлось быть в боевой обстановке, и я хочу остановиться на нем подробнее. Это был неестественно румяный, черноусый офицер. Он был слишком полнокровный и поэтому всегда спал, где-нибудь на сеновале, покрывшись несколькими одеялами и полушубком, и в самые большие морозы всюду ездил в летней гимнастерке и брезентовом халате. В Руже офицеры жили в доме вроде женского монастыря, где были 3-4 монахини. Серёжа Натензон приводил их в ужас тем, что зимой выходил совершенно голый из дому и на пруде, на льду, денщик обливал его из ведра ледяной водой. Натензон любил долго спать, а другие офицеры изобретали способы помешать ему. Однажды к нему на чердак загнали кур. Куры в панике начали метаться, бегали Натензону по голове и заставили проснуться. Он, конечно, ругался, а все остальные хохотали. Он был смелым офицером, пожалуй, даже слишком рьяным. Гусары говорили, что он «шалый» и были отчасти правы. Натензон иногда слишком рисковал и собой и вверенными ему людьми.

Еще лежал снег, когда нашему полку было приказано выступить на позицию. Погода была скверная, и переход был не из приятных. Оставив коноводов в одной из деревень, полк в пешем строю занял окопы по реке Дунайцу, немного левее местечка Опатовец¹⁹, находившегося на австрийской стороне.

Смена происходила ночью во избежание обстрела. Окопы наши шли по дамбе, расположенной вдоль реки шагов на 150 от берега. Между дамбой и рекой шла полоса кустов и лозняка. Полевые караулы были

¹⁹ Опатовец— посад Пинчовского уезда, Келецкой губернии, на реке Дунайце, при впадении её в Вислу.

вынесены на самый берег реки. Со стороны австрийцев положение было точно такое же. Позицию мы приняли в ужасающем виде. Не было ни землянок, ни окопов. Были какие-то норы в дамбе, они обрушивались от дождя и были для жилья совершенно не пригодны. У самой дамбы на нашей позиции находилась небольшая деревушка. Жителей там было мало, но по хатам стоять запрещалось, немцы регулярно обстреливали деревню артиллерией.

Кавалерия мало приспособлена для окопной службы, а уже устраиваться на месте, рыть окопы и землянки, совершенно нет возможности. Спешенный эскадрон дает человек 60 и занимает обыкновенно участок, где стояла пехотная рота. Считая расход людей в полевые караулы и другие наряды, обыкновенно получается половина в расходе, а другая половина на линии окопов. Таким количеством людей можно укрепить только отдельные пункты или выкопать небольшие взводные окопы.

Первым делом пришлось заняться жилищем. Я со своими двумя компаньонами (Погодин остался с коноводами) выкопал нору длиной с сажень шириной аршина в два и вышиной около аршина²⁰ с четвертью, сидеть было можно. Я ухитрился сделать подобие печи: вырыл устье и проковырял дыру вместо трубы. Вместо двери мы связали из соломы ком и затыкались им, как пробкой. Когда топили, было тепло и даже почти уютно, но все время сыпалась земля с потолка на голову. Спать можно было, только двоим, но из нас троих один или два всегда были в наряде, поэтому всегда было просторно.

На дамбе сверху нарыли окопов, точнее также накопили ямы, некоторые из них обложили мешками с землей.

Наш полевой караул находился на самом берегу реки и был устроен много лучше. Там был вырыт настоящий окоп, шагов на 15 вдоль берега, был блиндаж, вернее сказать, просто навес из ветвей, присыпанных землей. Ходов сообщения не было, и караулы сменялись ночью. На дамбе днем не рекомендовалось показываться, но там было все же не так рискованно, как в карауле. Австрийские наблюдатели смотрели зорко, и если высунешь лопату, или фуражку, то через момент глядишь – уже прострелено.

В караулах у австрийцев винтовки стояли, видимо, в станках и были пристрелены к нашим бойницам. Во 2-м взводе в первые дни убили одного молодого гусара. Ему пуля попала в глаз и развернула полголовы. Второго, также через бойницу ранили в грудь, но не тяжело.

Однажды я сидел в своей берлоге на дамбе и вдруг услышал над собой странные для меня звуки: страшный свист и хлопанье бича. Я выскочил из норы и увидел, что над деревней рвется шрапнель. У меня от неожиданности и непривычки сильно забилось сердце, но было любопытно посмотреть на трехцветный дым разрывов, и я остался наверху. Деревенские жители с одеялами и подушками кинулись прятаться в погреба, а куры в ужасе с криком носились по деревне. После приступа сердцебиения я скоро успокоился, и мне стало совсем не страшно, как будто меня вообще зацепить не может. Это чувство осталось у меня до самого конца войны.

Очень ясно помню свой первый наряд в полевой караул. Раннее утро. Полная тишина, стрельбы нет. Солнце к весне уже начинает пригревать. На Дунайце еще струится легкий туман. Ночью был мороз, и на кустах блестят капли растаявшего инея. Немного правее нас на австрийском берегу виден костел и дома в Опатовце и временами доносится музыка, играет орган в костеле. Иногда австрийцы ночью в полевых караулах пели песни, а потом кричали: «Русы, русы», и начинали ругаться. Мы в долгу не оставались. После перебранки, одна из сторон открывала огонь, другая отвечала, и с полчаса шла перестрелка. Нам запрещалось стрелять без толку, но когда гусары злились, остановить их было трудно.

[Здесь в тексте, не понятное по смыслу, незаконченное предложение – С.3.].

Наш полевой караул находился в десяти шагах от воды и был хорошо замаскирован кустами и ракитником. Австрийский караул был немного левее нашего, но так скрыт в кустах, что мы так и не могли установить точное его месторасположение. Для меня, впервые попавшего на фронт, все казалось страшно интересным. К этому времени я успел купить 6-ти кратный бинокль Цейса. Я никогда не отличался хорошим зрением, поэтому он был мне необходим. С биноклем я часами ежедневно изучал австрийский берег, наблюдал, как в Опатовце двигались горбатые фигуры (австрийцы носили ранцы и издали казались горбатыми), как рыли окопы на дамбе и в полевых караулах. Старался разглядеть, где у них находились пулеметные гнезда.

²⁰ Сажень – рус. линейная мера, употр. до введения метрической системы мер, равная 2, 134 м. (трех аршинам), аршин – 0,711 м.

Жизнь на позиции шла однообразная, и мне хотелось, каких-нибудь действий. Эпизодом, внесшим некоторое разнообразие, случилось знакомство с австрийским бомбометом. В это время я еще не был произведен в унтер-офицеры, но, как вице²¹ ходил за старшего в полевые караулы. Однажды теплым утром, сидели мы в окопе и грелись на солнышке, как вдруг, часовой, растерянно смотревший кверху, закричал: «Смотри, смотри! Летит!». Мы задрали головы и увидели в воздухе высоко прямо над нами, кувыркается что-то, вроде полена. На мгновение это полено совсем замерло в воздухе, а потом стало падать в нашу сторону. Упало за 50 шагов от нас и взорвалось довольно сильно, вроде трехдюймовой гранаты. Мы насторожились. Вдруг слышим со стороны противника, опять летит: звук очень низкий и слабый удар колокола. На этот раз попало совсем близко от нашего окопа, отвалило глыбу земли и немного нас присыпало, но ни ранений, ни контузий не было. Я доложил по телефону командиру эскадрона, и он приказал сидеть и наблюдать. В случае, если снаряд упадет и не разорвется, выждав время, посмотреть что это такое. В это время бомбометов еще не нигде не было, и мы не могли себе представить, что это может быть. Австрийцы выпустили всего 7 снарядов, и один из них заглох, упал и не взорвался. Когда стемнело, я пополз, разыскал его, выкопал (он немного ушел в землю) и принес в эскадрон. Когда его разобрали, то выяснилось, что это простейшая бомба. Она была шестигранной формы с пол-аршина длины и вершка 2,5 в диаметре. Снаружи ее была оболочка из белой жести, под ней 6 чугунных пластинок, отлитых, как вафельные щипцы, а в середине столбик взрывчатого вещества, вроде нашего тола, и к нему был приделан запал с бикфордовым шнуром. Разрыв был сильный, но поражение, видимо, не большое, так как чугунные пластинки не ломались по всем прорезам, а летели крупными кусками. По-видимому, это была одна из первых попыток испытания бомбомета, надо признать – неудачная.

В середине Великого Поста из штаба дивизии пришло приказание «достать языка», чтобы выяснить, какие части противника стоят против нас. Исполнить это задание было нелегко. Дунаец в районе нашей позиции был шириной около 200 метров, но как раз началось весеннее половодье, вода поднялась почти на сажень, и течение было как в Тереке. Переплыть реку на другую сторону предполагалось на баркасе понтонного дивизиона. Обратное же, в случае обстрела, вообще плыть было нельзя, поскольку вся река находилась под огнем австрийцев, и баркас бы потопили, а вплавь, даже сняв сапоги, и бросив оружие, в ледяной воде и хорошему пловцу был бы конец.

Выполнить эту задачу взялся 5-го эскадрона поручик Попов. Место переправы выбрали на участке нашего эскадрона, у нас были заводы, и можно было спрятать баркас. Решено было послать 10 человек из 5-го эскадрона и столько же от 1-го нашего. Вызвали охотников, и вперед шагнуло 11 человек. Из нашего эскадрона пошли отчаяннейшие люди, за старшего был командир 2-го взвода Горшков, кроме него вызвались командиры 3-го и 4-го взводов Максименко и Фадеев, помощник командира 2-го взвода, маленького роста, сухой, загорелый унтер-офицер. Из 4-го взвода ефрейтор Иванов и охотник мальчишка лет 17-ти. Из 3-го взвода моя компания: Печилин, Шпелев, я и гусар Широков. Одиннадцатым был приятелем Максименки каптенармус Онуфриев.

В виде подготовки к этому предприятию, было приказано выяснить, хотя бы приблизительно, где находятся австрийские полевые караулы. Вызвались на это двое: я и помощник командира 2-го взвода. Две недели мы с ним ползали целыми днями по берегу в камышах, несколько раз нас обстреливали, но Бог миловал, только изодрались оба в лохмотья. Один пост противника определили точно, а два других лишь примерно наметили, так хорошо они были скрыты.

Выход был назначен в ночь под Вербное воскресенье. Погода стояла довольно теплая. Прошли уже времена, когда у спавших в блиндаже мокрые шинели смерзались, и очередных часовых едва можно было отодрать от сослуживцев. Днем на солнышке было уже тепло, а на заре еще бывал иней и небольшой морозец. Ночи были безлунные, облачные, часто моросил дождь, и поднимался туман: для нашей операции условия были благоприятными.

В назначенный день, когда стемнело, потащили на руках через дамбу баркас. Он был железный, тяжелый, отчего несли его человек 20. Поставили его в заводь. С баркасом прибыли четверо солдат-гребцов. Эти ребята были достойны внимания. Невысокого роста, но широкоплечие, квадратного телосложения, все они были волжане. До войны они гоняли плоты. На берегу немного левее нашего полевого караула, вырыли окоп и поставили два «Максима». Нам было приказано снять шпоры, ремешки,

²¹ Вероятно, автор имел в виду свой чин вольноопределяющегося.

белые погоны перевернуть защитной стороной, снять Георгиевские кресты (у кого они были), чтобы ничего не блестело и не звякало. Взяли с собой по 100 патронов на человека.

План действий был следующий: если австрийцы нас обнаружат и поднимут тревогу, наша линия с артиллерией открывала беглый огонь по австрийской стороне дамбы, а мы, под прикрытием должны были выбить штыками полевые караулы, занять их и отсиживаться, сколько понадобится времени, пока сможем вернуться. Было известно, что у австрийцев в карауле 12 человек и, по крайней мере, по ящику патронов на стрелка, так что патронов нам вполне хватило бы на сутки.

Плыть решили в три часа перед рассветом, когда еще темно и часовым особенно дремлет. Я отстоял два часа часовым у пулеметов, сменился, и залег спать в своем полевом карауле. Придя в окоп, взяв из кармана шинели кусок хлеба, подумал не без «юмора», еще того гляди, убьют – пропадет хлеб, съел свою краюху и заснул. В это время нам, почему-то давали очень мало хлеба, и мы ценили его, как драгоценность.

Разбудил меня взводный, толкает и говорит: «Петров, вставай, все уже давно собрались». Я вскочил, схватил винтовку, примкнул штык и пошел на сборное место. Баркас держали кормой у берега. Почти все уже сидели в нем, влез я, за мной гусар Широков и последним поручик Попов. Он узнал меня в темноте, поздоровался и крепко пожал мне руку.

Видя, что я спросонок влез в шинели в накидку, кто-то из гусар сказал мне шепотом: «Что же ты, как к теще в гости едешь, брось шинель, а то еще потеряешь». Я бросил шинель кому-то на берег. Наш командир эскадрона нас перекрестил, сказал: «Ну, с Богом!» и мы отвалили. Со сна я еще не осознавал, что мы едем на отчаянное дело, и действительно ехал, как к теще на блины, будучи совершенно спокойным.

Ночь стояла темная, тихо моросил дождик. Наши гребцы показали себя: обмотали весла, чтобы не плеснуть, и в один миг перемахнули на ту сторону. Баркас ткнулся в камыши, и передние начали выбираться на берег. Впереди поползли люди из 5-го эскадрона, за ними наши: я и Широков позади всех. Ползли мы страшно медленно, резали проволочные заграждения, огибали волчьи ямы, растаскивали и протискивались сквозь засеки. Чего только австрийцы не нагородили на своем берегу. Ползли гуськом на животе, вплотную к пяткам переднего, чтобы не потеряться.

Наконец доползли до конца кустов. Поперек шла дорога и ряд больших стриженных раки. За ракетами располагалась поляна шириной примерно в сто метров, и далее темнела дамба, где были окопы.

У дороги 5-й эскадрон повернул направо, а мы поползли налево. Кругом стояла тишина, только изредка на дамбе запускали ракеты. Казалось, что прошла вечность с тех пор, как мы вылезли на берег. Наши передовые искали тропинку, по которой сменялся караул, и в темноте перелезли, через, какую-то довольно глубокую канаву не сообразив, что это был ход сообщения.

Все уже начинали волноваться, что не можем найти караула противника, когда вдруг услышали сзади, не то хрип, не то слабый вскрик, поняв, что 5-й караул уже снял караул и так осторожно захватил его, что обошлось без единого выстрела. Мы сползли кучкой и зашептались. В нас заговорило чувство соревнования и кто-то, кажется мой взводный, предложил лезть на дамбу снимать часовых. Наконец одному из нас пришло в голову, что мы уже пропустили ход сообщения. Мы вернулись обратно и поползли вдоль канавы. Ползли, пока не увидели в темноте, что-то белеет. Это был песок, вырытый из окопа. Наши головные взяли немного вправо, а кто был сзади, поползли в ряд до края, переползли через крышу блиндажа и, заглянув вниз, услышали дыхание спящих людей. На мгновение мы замерли и по крику и выстрелу, как собаки на зверя, бросились вниз. С этого момента, как бывает обыкновенно в рукопашном бою, я помню произошедшее отрывками, и могу восстановить картину только добавив рассказы других участников.

Часовых было трое. Они стояли у земляной стенки, забранной плетнем и досками в том месте, где окоп выходил из бугра. Часовые от дождя накрылись своими бело-серыми одеялами и дремали. Одного из них кто-то из наших схватил за горло, и его взяли живьем. Второго, Печилин, человек редкой силы, ударил штыком в грудь так, что пробил насквозь его и доски. Этот успел крикнуть и выстрелить, и на выстрел мы бросились в блиндаж. Винтовку Печилина с искривленным штыком трое гусар насилу выдернули обратно. Третьему часовому разбили голову. Когда я лежал на крыше блиндажа и раздался крик, я увидел под собой голову в австрийской шапке. У меня мелькнула мысль, что надо взять его живым. Я бросил винтовку и кинулся на австрийца сверху. Левую руку я подsunул ему под подбородок, а правой зажал ее как рычагом. Австриец сначала забился, а потом ослабел, заплакал и захрипел: «Не бей

– я чех». Я поднял его на ноги, и сразу же его вытащили наверх. Винтовки у австрийцев были составлены в углу окопа, и от сырости на штыки были надеты чехлы. Окоп был глубокий и узкий и мы, прыгая вниз, как и я, побросали свои винтовки, и сцепились с австрийцами голыми руками. Я помню, прежде всего, кошмарный крик – вой испуганных людей, которых убивали сонными. Долго потом этот вопль чудился мне и мучил во сне. Мой взводный, здоровенный парень, схватил за горло, какого-то австрияка, а другой давил его за горло сзади и все хрипели и бились в свалке о стенки окопов. Я не помню сам, но гусары рассказывали, что этому я разбил прикладом череп. Я пришел весь забрызганный мозгами и кровью. Некоторые из наших остались на блиндаже и во время свалки кололи и стреляли сверху. Вот доказательство, какой инстинкт у людей. В этой ночной каше, ни один из нас не получил ни царапины.

Когда все уже было кончено, я увидел лежавшего в блиндаже австрийца. Ему пулей перебило ногу, и он не мог встать. Я начал вытаскивать его наверх, он не мог стоять на ногах и я взял его руку себе на плечо. Австриец был почти на голову выше меня и, помню, у меня мелькнула мысль, что его рука вроде моей ноги – может задушить меня, как цыпленка. Когда его вытащили, увидели, что он не может идти и все время кричит от боли, хотели пристрелить его, чтобы он криком не привлек на нас внимание. Говорили, что я не дал его прикончить.

Обратно мы шли напрямик по кустам, не прячась, и ведя с собой четырех пленных, троих целых и одного легко раненого. Уже начинало светать. На дамбе непрерывно бросали ракеты, но стрельбы не было. Видимо, там совершенно растерялись и не знали, что предпринять. Своей свалкой мы подняли такой шум, крики и стрельбу, что не только австрийцы все слышали, но и у нас командир эскадрона решил, что мы нарвались на крупные силы и ведем штыковой бой. Кмит страшно разволновался и говорил, что погибли лучшие люди его эскадрона.

Между тем мы все были целы и невредимы, а своим галдежом нагнали такую панику на австрийцев, что произошло что-то совершенно непонятное. Наши пленные предупредили нас, что мы идем прямо на полевой караул. После этого боя мы так ошалели, что без разговоров бы выбили и этот караул «на ура!», поскольку теперь держаться тихо было не нужно, Этот караул, по-видимому, разбежался, и мы никого не встретили.

Почти рассвело, когда мы дошли до того места, где нас ждал баркас. Понтонеры давно уже отвезли бойцов 5-го эскадрона, и вернулись за нами. Я садился в лодку последним, и, пересчитывая своих, увидел, что нет гусара Широкова. Ждать было невозможно, скоро должен был наступить день. Баркас застрял в кустах, я и Иванов, спрыгнули в воду и выпихнули его на глубокое место. Нас держали за воротники и потом втащили в лодку. Пока мы переезжали, рассвело, но не было ни единого выстрела.

Прибыв на свой берег, мы отвели «языков» к нашему командиру. Пока я ходил, весь обмерз. Ударил мороз, и все платье на мне замерзло. Я под мышкой притащил свою винтовку, руки не действовали и зубы стучали. Во взводе гусары меня раздели и, положив на лавку, оттирали соломой.

В это время мой взводный бегал по берегу и орал во все горло: «Широков! Широков!», пока, наконец, раненый в грудь Широков не выполз из камышей. Он сел на берегу, попил горстью воды, снял с себя пояс, надел его на шею и просунул омертвевшую руку. Взводный, обезумев, бросился к понтонерам, но те, видя, белый день и что уже встает солнце, отказались переплывать, говоря, что все равно потопят. Тут же были наши гусары, которые вызвались сами грести, - погибать так, погибать, - не бросать же своего раненого умирать тут же на глазах. Понтонеры, решив, что доверять баркас чужим нельзя и помня о своей ответственности за него, посадили взводного, перекрестились, переехали и благополучно вернулись обратно с Широковым. Единственным объяснением этому может служить только то, что все австрийцы из окопов разбежались.

Я сидел голый на печи, когда пришли звать на построение всех нас к командиру. Во время этой свалки я оставил за Дунайцем весь зад своих штанов и идти строиться было не в чем. Для такого случая взводный приказал кому-то раздеться, и я надел все сухое. Командир поблагодарил нас, а мне по обыкновению, налил стопку коньяку для согревания. Штаны мои я заплел веревочками в сетку и хорошо еще, что у меня были казенные, толстые подштанники из теплой бумазеи, так как мне пришлось еще около месяца ходить в таком виде.

Широков был очень тяжело ранен в грудь. Идя с нами к переправе, он столкнулся в кустах с тремя австрийцами из убежавшего караула. Один из них выстрелил в него в упор. Выходное отверстие было с кулак величиной. Широков упал и притворился убитым. Австрийцы взяли его винтовку и убежали. Он долго болел, но все же месяцев через пять вернулся в полк.

За это дело понтонеры у себя в батальоне получили Георгиевские кресты, а нас немного обидели: дали на 11 человек 5 крестов и 6 медалей. Я получил Георгиевскую медаль за №205911.

ЧАСТЬ 2-я

В 1915 году Пасха, по моему, совпала с католической. Помню, как австрийцы вывесили плакат с предложением три дня праздновать и не стрелять. Наша сторона согласилась, и все три дня мы гуляли на виду противника. К нам даже переехали с той стороны два человека. Из наших гусаров тоже просились съездить к австрийцам, но начальство не позволило.

В это время мы менялись на позиции с 11-м Донским казачьим полком и по неделе были с коноводами в деревне верстах в шести от фронта. Как-то раз ночью я был назначен в патруль по расположению полка. Со мной был один запасной унтер-офицер. Проходим мы мимо штаба полка и видим, что подходит обоз. Привезли в полк подарки к празднику Пасхи. Стоим мы и смотрим, как сгружают мешки, вдруг подскакивает к нам обозный солдат, сует мне в руки пакет и говорит шепотом: «Иди за сарай – поделим пополам» Я поначалу не сообразил в чем дело и не хотел брать, но мой спутник посоветовал: «Бери, когда дают, от тебя не убудет». Пошли мы за сарай, развернули пакет, а там пять фунтов сахара в упаковке синей бумаги. Сахару мы получали мало подумали мы вдвоем и решили спереть все – не делись – все равно грех: половину спереть или все сразу. Пошли скорее в эскадрон, сахар спрятали, а я повесил свою черную папаху в избе и надел чью-то фуражку. Когда вернулись к штабу, видим, обозный шныряет кругом сарая, высматривает нас. Даже нас спрашивал, не видели ли мы солдата в черной папахе.

Назначили нам нового командира полка генерального штаба полковника Одноглазкова⁸. С первого взгляда он не понравился ни офицерам, ни гусарам. По случаю приемки полка он закатил такое учение, какого и в мирное время никто не видал. Пять часов почти без перерыва он гонял полк всеми аллюрами и построениями по громадному полю, перерезанному довольно глубокими канавами. Весь день шел сильный дождь, было скользко, многие валились с конями, но, к счастью, никого помятых не было. Мы шли во взводной колонне галопом. Мой конь вообще прыгал не блестяще, а тут еще его сдавили боками, весь взвод как-то стиснулся. Проходя через канаву, весь взвод прыгнул одновременно, но у моего коня передняя нога попала в ров, и мы с ним полетели. Я успел сбросить пику, лежал на спине и смотрел, как через меня перемахивает задняя шеренга и весь 4-й взвод. Конь мой тоже лежал смиренно, и ждал пока пройдет эскадрон.

Жило нас в хате человек пятнадцать, спали на полу на соломе. Вшей развелось сила непомерная. Если, кто-нибудь из гусар рисковал переодеть чистое белье, то на него собирался двойной комплект вшей, и соседи его отдыхали. Сколько ни давили – количество не уменьшалось. Играли в чет и нечет, вынимая из-за пазухи вшей щепотками. Кто угадывал четное или нечетное число вытянется – выигрывал. Один раз перед окном положили чьи-то вывернутые шаровары. Мороз был градусов 15. Вши так и забегали. Целую ночь лежали штаны, вши мерзли, но не околевали.

Умывались мы в корыте у колодца Утром по очереди, один выскакивал из хаты сломя голову, колот лед, а другой наливал воды из журавля²². Когда мылись в одних рубашках – пар шел, как дым коромыслом.

Раза два мы сменялись с полками своей дивизии, а потом пришли ополченческие части - «крестики», как их звали гусары, за их ополченческие кресты, вместо кокард на фуражках²³. Подивились мы, когда сменять мой полевой караул на берегу Дунайца, пришло 25 человек, а нас гусар было всего 7: начальник караула и три пары часовых. Вообще по количеству людей ополченцев было раз в шесть больше чем нас. Мы отошли коноводам и отправились снова в деревню Ружу на отдых. Там стояли с неделю. Помню – говели. Исповедовались и причащались. Получали новое обмундирование, но, как, назло шаровар не было, и я все еще ходил с заплетенным веревочками задом. Командир эскадрона, как-то увидел меня в таком виде, возмутился, и для меня взяли, где-то у пехоты серые чертовой кожи брючки. Прямо совестно было надевать, да и гусары говорили дразня: «Что перевелся в гражданскую роту». Что это значило, не знаю, но все-таки, было немного обидно.

В один прекрасный день были мы, как говорилось, «желающие и назначенные» в церкви на другом конце деревни, когда вдруг слышим, трубачи играют «тревогу». Все побежали бегом по эскадронам.

²² Журавль – тонкий длинный шест у колодца, служащий рычагом для подъема воды.

²³ Особенностью Ополченческого креста являются закругленные края.

Приказано немедленно седлать и выходить. По дороге встретили 3-ю Кавказскую казачью дивизию. Видели еще конницу, которую наскоро собрали, чтобы «затыкать дыру». Немцы, по нашему примеру, переправились через Дунаец, перекололи массу «крестиков» и развили наступление по фронту верст на 15, почти до местечка Жабно. Наша конница пошла в контр наступление. Я видел издали редкую картину: 11-й Донской казачий полк нашей дивизии в конном строю атаковал немецкую пехоту, но попал под пулеметный огонь, и потерял массу коней. Донцы залегли, подравнялись, и перешли в наступление в пешем строю. Их цепи с пиками шли на «Ура!». Видимо, общего успеха эта атака не принесла, так как задержать немцев не удалось, и с этого момента началось **известное отступление 1915 года**. Немцы бросили в наступление крупные силы и скоро весь наш Юго-Западный фронт начал отступать. Наша пехота не выдержала натиска, не имея к тому же достаточно снарядов и патронов. Вероятно, много нашей пехоты сдалось в плен, отчего на фронте образовались «дыры».

Конницу перебрасывали непрерывно, чтобы воспрепятствовать наступлению противника. Почти все лето 1915 года мы мотались по всему фронту. Переход верст 100 – бой. Отходим, команда «По коням!», снова переход верст 50 и снова бой и так без конца. Переходы делали обыкновенно по ночам. Спать почти не приходилось. Все в памяти перемешалось. Из этого периода я помню много отдельных эпизодов, но последовательность их восстановить не в состоянии.

Наши кухни не поспевали за полками. *По несколько дней мы почти ничего не ели и почти не спали. К концу лета люди и кони были вымотаны до последней степени. На походе, по команде «Стой-слезай» все ложились прямо в грязь и засыпали, как убитые.*

На обязанности дежурного по эскадрону было будить. Много раз я был дежурным и испытывал настоящие мучения. Особенно ночью: сесть было нельзя – заснешь сразу; разводить костер зачастую также было нельзя, чтобы не дать себя обнаружить противнику. Я курил непрерывно и буквально пальцами поднимал веки глаз, чтобы только не дать себе заснуть. Ночь длилась бесконечно: усталость убивала всякую волю. Часовых проверяли все время и даже не наказывали, когда они дремали, так как свыше человеческих сил было стоять в полной темноте два часа и не задремать.

Относительно бескормицы гусары остроумно замечали: «Чтобы совсем не есть, так пожужешь хоть яблочко или что-нибудь другое, а что правда, то правда, до того дошли, что на двор ходить нечем».

Не раздевались неделями, казенное бязевое белье все сгнило и развалилось на куски. Вши заедали. Мыться и стирать белье, было некогда. Гимнастерки и шаровары превратились в лохмотья, чинить было нечем, да и времени не было. Однажды я достал немного пшеничной крупы и кусок сала. На первой остановке помыл крупу, порезал сало, раздалась команда: «По коням!» и пошли дальше. Снова привал, налил воды в котелок и начал варить, опять команда «По коням!» и дальше. Насколько помню, эту кашу я возил с собой два дня и постепенно доваривал.

До войны я не курил. Из новобранцев, приходящих на военную службу, говорят, курящих было 5 %. На войне закурили все. За папиросу готовы были дать все что угодно. Где только видели убитых австрийцев, наперегонки летели искать по карманам. Денег с убитых никто не брал, считали грехом. Брали ложку, кружку, ножик, без чего солдату не обойтись, но главная удача, если находили хоть сколько-нибудь курева. Кстати сказать, австрийский табак был отвратительный, хуже нашей махорки.

Насколько помню, от Жабно, где собрался конный корпус генерала **Гилленшмита**⁹, мы отошли к **Лобачеву**. Ночь простояли в небольшом женском монастыре. Офицеров монашки покормили, и мне повезло поужинать с ними. На рассвете мой взвод во главе с Поручиком Натензоном пошел в разъезд на станцию железной дороги. Там мы взорвали водокачку, паровоз и стрелки. Красиво рухнула водокачка. Мы заложили толловые шашки под резервуар и заперли и завалили все окна и двери. При взрыве нижней стены, части ее разлетелись во все стороны и резервуар с грохотом рухнул. Возвращаясь к полку, мы с горки видели фланг конной атаки нашей дивизии на немецкие окопы. 11-й Донской казачий полк дошел до окопов, часть прошла дальше, но пулеметы из крытых гнезд продолжали бить по второму эшелону. Донцы спешили с пиками и ручными гранатами добивали немцев. В этом месте было два батальона гренадер. Громадного роста, белокурые солдаты с желтыми петлицами на воротниках. Донцы рассказывали, что их пулеметчики были прикованы цепями к пулеметам и не сдавались до конца. Пленных было взято немного. Наши офицеры допрашивали одного унтер-офицера, раненого пикой насквозь в правый бок. Ему дали коньяку и папиросу. Он стоял и был только очень бледен. Один гусар поддерживал ему правую руку, а фельдшер Дьяконов бинтовал огромную сквозную рану. Немец был

высокого роста, красивый блондин – яркий представитель германской расы. Сила воли и выдержка у него были достойные преклонения.

Однажды полк шел по шоссе. 1-й эскадрон в голове, мой взвод в головной заставе, а я впереди дозорным. Еду и все ломаю себе голову, откуда мне достать штаны. Домой писать долго, да и посылки пропадали. Как раз накануне я получил посылку, из которой украли штаны. Вдруг вижу, навстречу мне идет обыкновенный местечковый обыватель - жид в лапсердаке, картузе с пейсами. Чтобы не запачкать полы лапсердака придерживает их руками, и поэтому я увидел на нем одетые казенные, черные артиллерийские шаровары. Я прямо глазам своим не поверил, но присмотрелся, никакого сомнения: кармашек для индивидуального пакета слева спереди и пуговицы белые жестяные. Я подъехал к нему и говорю: «Стой, приятель, снимай штаны». Тот в панике, или не понял, или растерялся, или не желает. Я тогда винтовку снял с плеча, щелкнул затвором, выругался крепко и говорю: «Снимай, брат, скорее, а то стрелять буду». Жид закричал, но сразу снял штаны и пошел дальше. Мне жаль было отпустить его по морозу в подштанниках, но не мог же я переодеться в дозоре, когда полверсты сзади идет полк и вся дивизия. Еду дальше, люблюсь на свое приобретение и слышу, нагоняет меня карьером гусар и кричит: «Петров, к командиру!». Я немного струсил, спрашиваю, в чем дело. Гусар рассказывает, что Кмит увидел жида на шоссе и спросил, почему тот по морозу без штанов ходит. Жид ему рассказал и Кмит страшно рассердился. Полетел я карьером, и боюсь – попадет мне за штаны, боялись мы Кмита, как огня. Вижу, он едет перед эскадронам и рядом идет жид без штанов: и смешно и страшно. Подъезжаю, беру под козырек. Кмит сердито спрашивает, что случилось. Я докладываю все по порядку. Кмит слушает и говорит: «Правильно сделал – гоните жида в шею». Тем дело и кончилось.

Запомнилась мне одна позиция в лесу. Пехотные, старые окопы. Стояли мы там, около суток, задерживали противника. Потерь у нас в эскадроне было немного: 2-3 раненых и скончавшийся от тяжелого ранения в живот запасной унтер-офицер Филяюшкин. Он пришел со мной из Борисоглебска и был запевалой в песенниках, у него был хороший высокий тенор. Наш Кмит был глуховат. На этой позиции, в самый разгар боя – стрельба во всю, работают пулеметы, и бьет изредка артиллерия. Кмит с офицерами сидит в маленьком блиндаже, вдруг вылезает во весь рост, прислушивается и говорит: «Стреляют, кажется?». Офицеры сразу же потащили его обратно в блиндаж.

Стояли мы на другой позиции, на опушке леса. По счастью, перед нами было болото. Левее нас была пехота, которая всю ночь отбивала атаки немцев. Когда рассвело, я насчитал 10-12 цепей атакующих. Вскоре, немецкая артиллерия сбила нашу пехоту, и мы тоже начали отходить.

Однажды наш полк отступал по шоссе. Справа и слева, на одном уровне с нами двигалась австрийская конница. Я был в боковом дозоре. Своего второго дозорного я послал с каким-то донесением. Слева от меня на горизонте видно облако пыли от австрийской конницы: знаю, что каждую минуту могу налететь на их дозор, и поэтому двигаюсь очень осторожно. Местность такая: островки кустов и деревьев и между ними лужайки. Вдруг слышу, слева звенят удила и стремяна. Я задержался подле кустов и вижу с другой стороны в сорока метрах от меня, высовываются конские морды, и одна пика. Те тоже меня заметили и спрятались. В такие минуты мозг работает с невероятной быстротой. Ищу выходы из положения: атаковать – сумасшествие. Правда, те думают, что я не один, дозоры всегда ходят по двое, но один из них с пикой, а я только с шашкой. Второй выход: спешиваться и стрелять – рискованно, конь убежит, а стрелять с коня - не попадешь. Третий выход: удирать. У немцев лошади тяжелые, но и мой не Бог весть, какой резвый. Тогда уж они наверно атакуют, и зарубить могут. Решил ждать, не подъедет ли еще дозор. Жду я – ждут они. Показались долгими эти несколько минут. Наконец я начал осаживать коня, заехал за другой кустарник, стою, жду. Слышу, и они отходят. Опять мы выглянули друг на друга, но уже метров за 100-150, и, наконец, мирно разъехались каждый своей дорогой. Другой эпизод окончился хуже.

Меня с двумя гусарами послали «осветить» опушку леса. Гладкое поле, потом канава и за ней дубовый или буковый лес. Мы ехали рядом с большими интервалами и разговаривали между собой. Вдруг один говорит: «Вижу, что-то, похоже, в лесу пехота». Подходим метров за триста и пробуем старое испытанное средство, обнаружить противника: внезапно поворачиваем и карьером идем назад. Средство помогло: затрещали выстрелы с опушки. Противника, вероятно, было около взвода. Только что я успел это подумать, чувствую – лечу, конь падает. Падение меня ошеломило, но все же соображаю, что лежу на спине и ощущаю боль, думаю, что об винтовку расшибся. В этот момент страшная боль в левом боку. Ну, думаю, готов, но мозг от боли прочищается, вижу, что гусар тыкает меня в бок тупым концом пики, чтобы

выяснить, жив я или нет. Сообразив все, вскакиваю и бегу, держась за хвост его коня и вьюка, хорошо, что самая ценная вещь солдата - бритва у меня в кармане.

Как-то раз я водил разъезд семи коней и попал под сильный обстрел. Ранили у меня одного гусара, видимо в печень, справа под ребра навывлет. Мы перевязали его, но страшное кровотечение остановить не смогли. Везли его потихоньку, поддерживая с двух сторон, но часа через полтора он скончался. Закопали мы его у дороги в неглубокую яму, прочли «Отче наш», перекрестились и поехали дальше.

На какой-то железнодорожной станции стояли около суток, и тут пришел приказ о моем производстве в младшие унтер-офицеры. У нас по обычаю, унтер-офицеров гусары звали по имени и отчеству. После производства поздравляют меня мои ребята, а Бобкин говорит: «Ишь ты, теперь и обругать не смею. Хош не хош, зови Рафаил Рафаилыч».

Одну из ночей мы провели в большой деревне верстах в трех от фронта. Кругом пылали пожары: всю ночь с трех сторон было зарево. Настроение было жуткое. Мне, как-то всегда было спокойнее находиться в первой линии, когда знаешь, что противник непосредственно перед тобой, чем в тылу. Слышать бой и видеть, как все кругом в пламени. Этой ночью я получил из дома посылку, мне прислали гимнастерку. Как раз вовремя, а то от моей остались, можно сказать, одни погоны. Мост был взорван, жители сидели по погребам и улицы были пусты.

Проходили мы по местам, где в 1914 году были тяжелые бои. Стояли в одном лесу, буквально уничтоженном и расщепленном снарядами. Даже теперь, через такой промежуток времени следы этих страшных боев не исчезли. Около Сана²⁴ ужасные дороги – песок чуть не по ступицу колес. Наши батареи стали. Спешили наш полк и, зацепив веревками и поясами, тащили по солнцепеку часа три. Чуть не падали от усталости. Эскадроны сменялись, отдыхали немного и опять тащили. Через Сан перешли вброд. Было дано два часа времени выкупать коней. Купались все с наслаждением и многие гусары обгорели на солнце до волдырей. Купаясь в Сане, я потерял свой нательный золотой крест, видимо порвалась цепочка, и я не заметил. Я искал всюду и чуть не опоздал на построение. На меня неприятно подействовала эта потеря, как-то страшно было оставаться без креста. Когда впоследствии я получил Георгиевский крест, то не снимал его до самого конца войны.

Целую ночь стояли всем полком у Сана на картофельном поле вблизи наших прошлогодних окопов. Там брустверы были буквально сложены из трупов, слегка присыпанных землей. От жары вонь шла нестерпимая и нас отвели еще с полверсты, но и там было не лучше. Ночью я спал, и как всегда конь был привязан чумбуром мне к руке. В эту ночь он все мотался и будил меня. Я стал искать сучек или куст, чтобы привязать его и в темноте вижу, что-то торчит из земли, пригляделся, а это человеческая рука, почти одни кости. Не мудрено, что от трупного запаха, нечем было дышать.

В умении воевать, многому научился я у своего командира эскадрона, именно таким вещам, о которых в учебниках не пишут. Смелый боевой офицер Кмит был в то же время очень осторожен. Он говорил мне: «Куда наступать – начальство тебе прикажет, а куда отступить – сам должен вперед знать». Однажды мы занимали окраину большого села. Выставили посты у крайних хат: взводы стали довольно далеко один от другого, и всюду Кмит приказал выломать в заборах широкие проходы, чтобы обеспечить прямое сообщение между взводами и пути возможного отступления. Гусары посмеивались и говорили: «Наш Кмит любит заборы рушить», - хотя прекрасно понимали для чего это делается.

За всю мою службу в Белорусском полку я один раз остался в коноводах. Думал отдохнуть, а вышло так, что проклял все на свете. Мы попали под артиллерийский обстрел, и мне пришлось мучиться с тремя конями и тремя пиками. Дело было в лесу. Грохот разрывов, деревья валятся, осколки жужжат, кони бьются и мечутся. Счастье, что остался цел, кони не помяли, и пик не потерял, но зарекся никогда больше в коноводах не оставаться.

Будучи уже офицером я оценил, как мне пригодилась школа солдатской службы в Белорусском полку. Для молодых офицеров, когда они из училища попадают в боевую обстановку, первые разъезды часто кончаются смертью или ранением. Вообще для городского жителя ориентироваться ночью в лесу, задача невыполнимая.

Однажды вечером вызывают меня к командиру. Кмит сидит за столом и с ним молодой корнет, только что прибывший из Запасного полка. Кмит поздоровался со мной и начал объяснять Корнету задачу по карте. Я стою около стола, и Кмит нет, нет, и посмотрит на меня, все ли я понимаю. Рассказав все, что

²⁴ Сан — река, протекающая по границе Польши и Украины, исток в Карпатах.

следовало, кто справа, кто слева, где предполагается противник..., говорит молодому офицеру вполголоса: «С вами пойдет унтер-офицер Петров, и Вы можете положиться на него во всем».

При отступлении обозы удирали с молниеносной быстротой, интендантства увозили или жгли свои склады и конница, отходившая последней, оставалась голодной. Помню большой лес и в лесу пожар. Горели громадные интендантские склады, но, к сожалению, уже почти все сгорело, и вытащить нельзя было ничего. Вне огня стояли только бочки с какой-то соленой красной рыбой, вроде семги. Разбили мы бочки: рыба солоня до того, что нельзя взять в рот и часть ее уже начала гнить. Отрезали от червей, ели со вкусом и ругали на чем свет стоит все интендантства, что не могли к рыбе оставить хоть немного хлеба.

Как-то раз кухни привезли нам обед, и мы в хате, стоя вокруг стола, едим из ведер. Бобкин только что вернулся из разъезда, ест и все что-то нюхает правую руку. Кто-то из гусар спрашивает его: «Бобкин, что ты нюхаешь, лучше бы перед обедом руки помыл». А Бобкин отвечает: «Еду с разъездом и вижу - убитый австрияк лежит. Я, конечно скорее – табачку пошарить, да как ширнул ему руку в карман. Австрияк то был тухлый, так рука у пузоук улезла». Даже нас, привычных ко всему, едва не вырвало, и аппетит сразу пропал, а Бобкин, видимо, только этого и хотел, так как обеда было маловато.

Правду говорят, что в плен можно взять только того, кто сдается. В самый разгар отступления в одной деревне жители нам рассказывали такой случай. Приходит в деревню русский пехотный солдат: грязный, рваный, маленького роста, рыжий и небритый. Видно устал, попросил молока, сидит на крыльце и пьет. Бегут к нему жители и говорят: «Рус, уходи скорее, в деревню входят австрийцы». Рус не торопясь, допил молоко, дожевал хлеб, взял свою винтовку и пошел по улице. Налетел на него австрийский разъезд, он спокойно зашел за забор выпустил в упор обойму, несколько конных повалил, а остальные отскочили. Солдат также спокойно вышел из-за забора и пошел дальше по улице. Когда он вышел за околицу, появился второй неприятельский разъезд, огибавший деревню, и первый разъезд нагнал опять. Рыжий солдат присел в ямку: хлоп, хлоп, опять несколько австрийцев упало, остальные замялись, а солдат встал и ушел. Этим случаем заинтересовалось начальство, и даже опрашивали жителей, но, к сожалению, не удалось узнать ни части, ни фамилии этого серого героя.

Редкий случай – возможность поспать и отдохнуть, запомнился, как что-то необыкновенное. Меня послали в обоз 2-го разряда. Я и мой конь были вымотаны до последней возможности. Торопиться было некуда, я выполнил поручение, и полк, отступая, должен был двигаться ко мне на встречу. Я выехал в поле, нашел ручеек, расседлал коня, пустил его пастись, вскипятил чаю, поел и залег спать. Спал часов пять, совершенно не волнуясь, что неприятельский разъезд может меня захватить спящего. Когда человек изнурен свыше меры, для него сон и еда являются потребностями главными, а безопасность отходит на второй план. Проснувшись, я дал торбу коню, снова попил чаю, полежал в свое удовольствие, ощущая истинное наслаждение от тишины, покоя и природы. Необыкновенное чувство беззаботности свойственно людям только на войне. В обычной жизни человек не может не думать о завтрашнем дне, а с этим связаны мысли о деньгах и всех прочих жизненных благах. На войне же мысли о завтрашнем дне вообще не существуют. Сегодня я жив, здоров, сыт и этим счастлив, а завтра – что Бог даст!

Ехал я верхом по улице в каком-то жидовском местечке. Всюду стояла пехота и у костров, сидели солдаты и варили пищу. Я подъехал к костру и попросил прикурить. Вижу, двое солдат едят картошку, но не из котелка, а из... ночного горшка. В Галиции почему-то эти сосуды были не обыкновенной формы, а совсем как кастрюли, но с ободком пальца в два шириной для удобства. Сосуд был сильно подержанный. Я хотел поначалу сказать солдатам, но потом решил, что все равно уже поздно и нечего портить им настроение.

Трагикомический случай рассказал мне врач одного полевого перевязочного пункта. Стоял он с пунктом за пехотной позицией, шел бой, и несли много раненых. Приносят одного прапорщика с забинтованной головой. Когда подошла его очередь, развернули повязку и видят, что не голова у него, а голый мозг. Такому и перевязку менять не стоило, положили его в сторонку и оставили умирать. Лежит прапорщик без сознания и все лицо у него зеленое. Лежит он сутки, не умирает. В сознание не приходит, но жив. Лежит вторые сутки, и даже начинает немного шевелиться. Врач заинтересовался, но решил, что перевязку менять не имеет смысла. Лежит офицер третьи сутки, уже трупный запах чувствуется, но приоткрывает один глаз и глотает капли воды с ложки. Тогда, наконец, доктор в полном недоумении решает разбинтовать ему голову. Снимает повязку, видит тухлые мозги, начинает копаться в мозгах и обнаруживает под ними черепную коробку. Снимают и смывают мозги, а под ними обнаруживается целая

голова, как полагается человеку. После выяснилось, как было дело. В окоп ударил снаряд. Прибежали санитары тащить раненых и убитых, и увидели сидящего у стенки окопа этого прапорщика, а вся голова у него сплошной мозг. Санитары схватили его, забинтовали, не разобравшись, что он контужен, а мозги были чьи-то чужие.

Однажды я был ординарцем у командира полка. Штаб стоял в одной из деревень, в верстах четырех от передовой линии. Эскадроны располагались в лесу и имели интервалы с версту один от другого. В этих местах прошли недавно бои – «кадриль». Наши и австрийские трупы валялись вперемешку. До леса было поле версты в две шириной. От деревни в лес шло шоссе. Мой 1-й эскадрон стоял левее шоссе. По шоссе иногда била артиллерия противника и были убитые и раненые из наших ординарцев. Сплю я ночью у забора, когда меня будит вестовой из штаба и спрашивает какого я эскадрона. Отвечаю – первого. Все равно,- говорит,- командир полка требуют. Вхожу к командиру. Одноглазков дает мне пакет и спрашивает: «Знаешь, где стоит 4-й эскадрон?». Отвечаю, что не знаю точно. Адьютант показывает мне по карте: от шоссе вправо около полверсты есть тропинка и по лесу версты две. По шоссе,- поясняет,- ехать нельзя, артиллерия обстреливает и ординарцы 4-го эскадрона – один убит, а другой ранен. Положил я пакет в фуражку, подтянул подпруги и поехал. И я, и конь были сонные, не доспали мы оба. Едем правее шоссе, по полю. Действительно по шоссе дали несколько шрапнелей. Доехав до леса, посчитал по времени, нашел узкую дорожку и, дальше в полной темноте в дремучем лесу предоставил коню двигаться по его усмотрению. Едем мы шагом, видимо оба на ходу дремлем, но чувствую, что мой конь все задерживает шаг. Думаю – устал, пришпорю, но вскоре он снова начинает задерживать шаг. Дальше - больше. Наконец вижу, что конь начал нервничать, идет неуверенно. Его нервное состояние начало передаваться и мне. Не могу понять, в чем дело, но и меня лихорадить начинает. Думаю, чует волка или противника, но мы не прошли еще и одной версты, а наша линия на второй версте от опушки. Трупов мой серый никогда не боялся. Не могу понять, но берет жуть. Как будто, вот, вот, что-то случится. Конь мой уже упирается, дрожит, и насилию заставляю его идти. Думаю: унтер-офицер, Георгиевский кавалер и вдруг струсил один в лесу и не исполнил приказания. Позор! Долг присяги – все. Вдруг, до сих пор не знаю, был ли это звук, но что-то случилось: мой конь шархнул влево так, что разорвал об дерево мне шаровары, оцарапал лицо и сам ободрался. Фуражка не слетела только потому, что я на всякий случай опустил ремешок. Меня холодный пот пробил по всему телу. Я сорвал винтовку, взвел курок, и, чувствуя, что если на меня хоть лист упадет, то могу потерять сознание,- заставил коня идти дальше шагом. Сколько времени мы ехали – не знаю, наконец, меня окликнули. Я был в таком состоянии, что даже не понял сразу: свои или австрийцы. Шагом я подъехал к костру, передал командиру эскадрона пакет и вижу, что гусары уводят моего коня, а он весь в мыле, как будто мы летели с ним карьером верст десять. Гусары говорили, что на мне «лица не было». Когда меня спрашивали, я даже ничего толком ответить не мог. Если бы меня послали обратно по этой дороге, я не послушался бы приказания, но застрелился бы – не поехал. Что там было – до сего дня не знаю и не понимаю, но даже сейчас, через 25 лет, когда вспоминаю, жуть берет. На рассвете я вернулся с двумя ординарцами от 4-го эскадрона. Приезжаем в деревню, нашего штаба нет. Я – рысью в свой эскадрон и докладываю. Кмит дал мне разъезд и послал искать. Оказывается командир полка, никому не сообщив, смотался в другую деревню верст за семь от позиции. Не даром по первому впечатлению все в полку его невзлюбили.

Несколько раз приходилось видеть подозрительные явления, имеющие связь со шпионажем. Часто во время движения справа и слева от нас вспыхивали пожары. Это случалось так часто, что объяснить простым совпадением совершенно нелегко. Ясно, что поджигали нарочно.

Один раз продвигались мы вдоль фронта. Шло много конницы. Наученные опытом, мы сразу по прибытии на квартиры в деревню, бросились искать колодезь. Конница выпивала по дороге всю воду и колодезь буквально осушалась. Вскоре я нашел большой круглый бетонный колодезь. Заглянув в него, вижу на дне чуть-чуть воды – небольшая лужица. По стене колодезя шли железные скобы, можно было слезть вниз. Спустился я осторожно на дно, газов не чувствую, раскопал ямку, и вода стала набираться. Смотрю на стенке колодезя железная дверка. Меня заинтересовало. Штыком свернул дверку, а там, в шкафчике телефонный аппарат.

Стояли мы в лесу, и на наши посты вышел крестьянин. Привели его к командиру эскадрона. Крестьянин лет сорока, одет в галицийское платье. Рассказывает складную историю: как пошел он из деревни искать заблудшую корову, потом был там и там-то, переспал в лесу и, наконец, утром попал на наш пост. Все вроде, как будто похоже на правду и командир собирался, было, его отпустить, как один

унтер-офицер попросил разрешения задать ему вопрос. Скажи,- говорит,- а когда ты брился? Крестьянин замялся. Еще раньше его обыскали и бритвы не нашли значит он мог побриться, судя по его рассказу, только двое суток назад, а по лицу видно, что брился недавно. Ничего с ним не выяснили, но отправили в штаб дивизии.

Один раз ночью ходил на задание разъезд от нашего эскадрона. На перекрестке дороги стояла корчма. Заехали туда, попили воды, посмотрели. Старый жид больной лежит на громадном сундуке, а старуха сидит около него на стуле. Поехали дальше, кто-то из молодых гусар вернулся за своей пикой, которую оставил прислоненной к крыше дома. Коня оставил у ворот, чтобы не отпирать, сам подошел, чтобы забрать пику, рядом окно, слышит он, жид громко разговаривает с кем-то. Заглянул гусар в окно, видит, жид сидит в сундуке и говорит по телефону. Гусар полетел за разъездом, вернулись и арестовали жида.

За время отступления мы исходили всю Галицию вдоль и поперек. Интересно, что там жители местами были совершенно не похожи на других. В массе, галичане народ не красивый и костюмы у них довольно странные: мужчины с длинными волосами ходят в белых рубахах до колен, а бабы носят какие-то лукошки на головах под платком. Был забавный случай, когда наш кузнец Антип Рогозов хотел поухаживать и в темноте придавил в сених мужика, приняв его за бабу.

Между тем 2-3 деревни резко отличались по типу жителей. Высокий, красивый народ, тип настоящей славянской расы, красивые костюмы с массой вышивок, много красивых женщин. Очень интересны были церкви во многих селах: деревянные, оригинальной архитектуры, низкие, крытые тесом, или щепой.

Один раз лежали мы на бугре в цепи. Вели огонь, но немцы начали громить 6-ти дюймовыми снарядами. Мы закапывались с бешеной быстротой. Против пулеметов были уже защищены. Рядом со мной лежал в окопчике молодой гусар. Расстояние, между нами было меньше метра. Вдруг перед нами рвется шестидюймовая шрапнель: страшный взрыв, все посыпалось. Мы так и влипли в землю. Слышу около меня страшный удар, даже земля загудела. Думаю, пропал гусар. Выглядываю, самого его не вижу, а дым из окопчика идет. Щупаю рукой, не двигается, решаю: убит, но откуда дым? Несмотря на пули, лезу к нему, он лежит на животе и под мышкой у него горит гимнастерка. Голова шрапнели, кило в три веса, врезалась в землю между рукой и туловищем, зажгла гимнастерку, а сам он жив, здоров, только напуган до смерти.

Вскоре нам было приказано отходить. Отходим цепью, несем раненых и уже близко в низине деревня, вдруг, видим, с тыла нас атакует конница. Не удивляюсь, что пехота боится конной атаки, если и мы, кавалеристы, струхнули порядочно. Хорошо, что быстро добежали до заборов, откуда открыли огонь и сразу почувствовали себя в безопасности. Немцы перенесли артиллерийский огонь и начали бить по деревне. Их конница спешилась на бугре и открыла огонь по нам. Неся раненого, я страшно устал и отбил от своего эскадрона. Выбившись из сил и страдая сильной жаждой, я зашел в хату, дали мне молока, сажу на крыльце и пью. В это время идет по улице 5-й эскадрон и командир ротмистр Карбовский¹⁰ кричит мне: «Петров, вы что здесь делаете? Скорее сюда, 1-й эскадрон уже ушел». Дали мне заводного коня, я вышел с ними на край деревни и там нагнал свой эскадрон. За деревней дорога вводила в овраг, где скопилось много подвод крестьян-беженцев.

Несколько снарядов неприятельской артиллерии попали по ним, и было несколько убитых женщин и детей. Они лежали на обочине дороги. Мы привыкли к трупам убитых солдат, но вид убитых женщин и детей подействовал на нас удручающе. Проезжающие гусары снимали шапки и крестились. Пройдя дальше по оврагу, выяснилось, что впереди нас немцы громят тяжелыми снарядами. Кмит послал трех гусар, в том числе и меня, пройти через бугор налево до леса, чтобы постараться отвлечь огонь противника. Мы полетели сломя голову. С нами мчалось 10-12 донцов. Видел я, как подле них разорвалась граната: двое покатались с конями, но сразу вскочили и поперли дальше.

Били по нам здорово, но все же мы благополучно долетели до леса, переменили направление, но и там 6-ти дюймовки крошили деревья в щепки. Одним разрывом меня шарахнуло с конем о дерево, ушиб колено, порвал гимнастерку и шаровары.

Однажды вечером мы стали на позицию на небольшом песчаном бугре, поросшем ельником. Выкопали «кавалерийские окопчики», чтобы прикрыть голову и, лежа в них, продремали всю ночь. На рассвете выяснилось, что за версты две впереди нас, лежит цепь противника и, что они все время продвигаются справа налево. При первых лучах солнца стали ясно видны их горбатые фигуры, цепью проходящие влево к оврагу. Пока бой еще не завязался, некоторые из гусар отправились в лес с версту за нашей позицией греть чай для своей компании. Я спросился у взводного и, взяв штук шесть котелков,

отправился тоже в лес. Греть чай на позиции – настоящее искусство. Надо уметь находить безупречно сухие прутья и щепки, чтобы костер горел без дыма и не привлекал внимание артиллерии неприятеля. Были специалисты, которые под дождем, прикрывшись шинелью, ухитрялись разводиться огонь, варить чай и ничего видно не было: ни огня ночью, ни дыма днем; и пили чай в самых критических положениях. Некоторые возили сухие щепки в карманах или во вьюке – чай для солдата не только удовольствие, а потребность, вернее необходимость.

Нашел я воды, повесил котелки на палку и уже вскипятил, когда начали бухать 6-ти дюймовки. Били они за нашей позицией, как раз между лесом, где я был и нашими окопами. Немцы все делают основательно. Облюбуют какое-нибудь местечко и выпустят туда беглым огнем снарядов 50, потом перенесут огонь на другое место. Я уже нес чай, надев котелки на две палки, когда, вдруг шагах в восьмидесяти, влево от меня, начали ложиться снаряды и все приблизительно в одно место. Я лег, жду, а чай стынет. Опять встал и потихоньку нес. Через несколько минут правее меня – та же история. Снарядов 15-20 опять в кучу. Разрывы шестидюймового орудия страшной силы и даже на расстоянии около 100 шагов сотрясение воздуха ощущается, как толчок. Я ругаюсь, и испугался, даже самому смешно стало – не за себя, а что чай может разлиться. Все же удалось донести чай благополучно и выпили мы его с наслаждением. Винтовочный огонь был слабый, а артиллерия вскоре замолкла.

Левее нас, немного впереди располагался фольварк – большой помещичий дом с башней. Там были позиции 11-го Донского полка. Командир эскадрона послал меня разведать с высоты дома расположение австрийцев. Можно было предполагать, что они накапливают силы для флангового удара. Перебегая, по возможности, скрытно за кустами и бугорками я благополучно достиг фольварка. Влез на чердак, где сидели два донца-наблюдателя, но ничего нового о противнике выяснить не смог. Тщетно в бинокль осматривал я видимую даль. Спустившись на половину лестницы, неожиданно раздался взрыв гранаты, донцы, держась, друг за дружку, скатились по узкой деревянной лестнице, чуть не сшибли меня и бросились бежать из фольварка. Как раз вовремя, так как австрийская артиллерия начала гвоздить по дому.

Обратно вернулся я благополучно, доложил обстановку. Часа через три, австрийцы, видимо, собрались переходить в наступление. Усилился винтовочный и пулеметный огонь. Шестидюймовые орудия стали опять бить по лесу – щупать нашу артиллерию, а по нашей цепи начали бить трехдюймовые орудия шрапнелью. Лежим мы рядом: взводный Максименко, гусар Черкасов еще один и я, когда сажени три над нами разрывается шрапнель. Я то уже не видел и не чувствовал этого: взводного легко ранило в ногу, Черкасову попало в локоть третьего убило в голову, а меня контузило в правую сторону головы. Счастье мое, что у меня вытекло много крови из уха, носа и через рот, и таким образом внутреннее кровоизлияние не было особенно сильным. Меня рвало несколько дней, мучили страшные головные боли, лицо стало зеленоватого цвета, но, пролежав с неделю в обозе, я вернулся в строй. Несколько месяцев у меня было смещение оси правого глаза, предметы двоились в глазах, и все было как в тумане. Перепонка в правом ухе лопнула и срослась только после нескольких месяцев. В общем, я считаю, что отделался счастливо.

Однажды наша дивизия перешла в наступление. Белорусский полк шел впереди, а 1-й эскадрон вел разведку. Поручик Натензон с головной заставой был в верстах в двух от нас. Я шел в дозоре и дошел до глубокого и широкого оврага. Натензон с заставой обошел его, где-то левее и вышел на противоположную сторону прямо передо мной. Внезапно справа появился взвод австрийской конницы и, увидав, небольшой наш разъезд, в 12 коней, решился принять атаку. Наши бросились на «ура», покололи и взяли в плен несколько человек. Все это происходило у меня на глазах. Когда позже гусары вспоминали, как ходили в атаку, Бобкин рассказывал: «Я как наскочил на австрияка, как ширнул ему пикой в сакву, ажно весь овес просыпался».

Надо сказать, что при мобилизации наш полк переодели в синие шаровары и гусары считали себя обиженными за такую перемену формы. Когда в 1915 году начались стычки с австрийской конницей, то с убитых и плененных моментально снимали их красные рейтузы и взамен давали им свои синие. Считалось высшим шиком щеголять в красных штанах, и гусары чуть не дрались, кому они достанутся. Где-то в высших сферах начальство заинтересовалось, видя плененных в русских казенных штанах, и по этому поводу производилось расследование. У меня тоже были красные штаны «для фасона», но я их купил у

пехоты за 2 рубля. Позже, когда я уходил в лазарет гусар Ш. умолил меня продать ему эти штаны за рубль, говоря, что в России я смогу достать себе настоящие гусарские чакчиры²⁵.

Хорошим показателем, как ошалели все от бессонных ночей и непрерывных боев, может служить один случай. Полк шел по дороге. Командир полка обгоняет полк и здоровается с эскадронами. Я в ординарцах еду с ним и вдруг обращаю внимание, что справа от нас над лесом солнце. Приходит мысль: утро или вечер? Потом вижу, солнце опускается, значит, вечер.

Помню утомительный трехдневный переход около 300 верст в районе Розвадов-Ниско. Шли, почти не отдыхая: в поводе, шагом, рысью. Был, кажется, всего один большой привал. Пришли в лес: масса убитых наших пехотинцев. Немцы зажгли можжевельник, и сначала дым душил нас, а потом ветер повернул и, вероятно, германцы сами стали задыхаться. От жары трупы страшно раздулись. Картина довольно жуткая. Там же были и австрийские окопы, также заваленные трупами.

Во время отступления 1915 года в Галиции 7-я Кавалерийская дивизия задержалась у города Пржеворска. Видимо 1-я бригада осталась перед городом, так как батареи поставили прямо в центре на площади. Наша 2-я бригада, - гусары и 11-й Донской полк,- прошла через город. Казаки остались в резерве, а нас, Белоруссцев, спешили и мы заняли бугры левее шоссе ведущего на север. Австрийская пехота продвигалась влево от нас, стараясь выйти нам в тыл. Их артиллерия была лениво, да и наша из города редко проявляла себя. Снарядов у нас к этому времени почти не оставалось. Мой взводный Максименко еще не вернулся после ранения, и я оставался за взводного 3-го взвода 1-го эскадрона. Спешив взвод, положил людей в цепь, команду прицел, и вдруг замечаю, что гусары бьют беглым огнем, а выстрелов что-то слышно мало. Смотрю, некоторые гусары щелкают затворами, целятся, спускают курок, глаза открыты, но новых обойм не вкладывают, а дуют впустую – спят наяву. Вот до какой степени усталости можно дойти. Прележали мы в цепи часа два и австрийцы, как будто задержались, по крайней мере, их продвижение наперерез шоссе в сфере нашего обстрела прекратилось.

Вдруг нам скомандовали «По коням!», мы бросились в лесок, где были коноводы. Команда «Садись!». Мы вышли на луг правее шоссе, и полк построился развернутым фронтом. Штандарт передали в 4-й эскадрон. Видим верстах в двух от нас из леса выскакивает во взводной колонне кавалерия и тоже строится фронтом. Дело к вечеру, солнце на них – видно все как на ладони: кони вороные, рейтузы красные, венгерки синие, шапки черные. Выскочил второй полк и показывается третий – дивизия. Нас – бригада, но зато мы Белоруссы и 11-й Донской: против нас и дивизия австрийская выдержать не может. Старые гусары стали брать пики у молодых и перестанавливаться в первую шеренгу. Молодые рады, многие к пике не навыкли. Пика страшное оружие, но только тогда, когда всадник ею владеет в совершенстве, а когда он не уверен в себе, то пика может ему только помешать. На взводах у нас: на первом штабс-ротмистр Волков; на четвертом поручик Натензон; на втором корнет Львов. На нашем, первом, корнет Нечаев: маленький, коренастый, большие черные усы, по прозвищу «Черномор». Из господ офицеров поручик Натензон тоже взял пику. Кони поняли, что будет атака: не стоят, прядают ушами, задняя шеренга прямо через переднюю на австрийцев заглядывает. Вижу: молодые гусары в задней шеренге нервничают. Думаю, надо кое-какое унтер-офицерское наставление сказать, говорю: «Слушайте хлопцы: осмотреть подпруги, попробуй шашку. Задние, при ударе норови влево от своей передней шеренги, и не рубай, а коли. Под ноги все время коней не распускай. После, как сшибем, сразу держись строя, жди второй атаки. Держи дистанцию, не жмись и не растягивай: на кавалерию идем. Бобкин, раззява, закрути трочек»²⁶. Сам у себя попробовал подпруги, подумал, чтобы оставить место Нечаеву осадить в строй. В это время раздалась команда: «Равнение на середину! Полк, шагом мааррш!».

Снял фуражку, перекрестился и тут даже не подумал, а вернее почувствовал: «Вот когда-то, может быть, лет сто тому назад Белорусский полк, строился для атаки. На правом фланге 3-го взвода 1-го эскадрона тоже стоял неведомый мне унтер-офицер и так же он сказал наставления гусарам, и так же пробовал подпруги и так же крестился и готовился дать ответ Господу Богу. И не имеет никакого значения, если меня уже не будет – все будет исполнено, как полагается по уставу и по присяге. Другой унтер-офицер станет на мое место, и он так же спокойно и уверенно осмотрит людей и так же без колебаний исполнит свой долг. В минуту высокого нервного напряжения, перед атакой, готовясь «дать

²⁵ Чакчиры – форменные гусарские рейтузы, украшенные шнурами.

²⁶ Трочек – страховочный ремень.

ответ Господу Богу», я инстинктивно почувствовал преемственную связь со своими предками. Связь эта не прерывалась со времен наших первых московских князей, может быть от самой Куликовской битвы. Так же приходили в войска «молодые». Так же им давали каждому «дядьку» - старого солдата, который его учил уму-разуму и солдатской службе и солдатскому быту. Потом этот «молодой» сам становился «дядькой» и передавал своему «молодому» тоже «наставление». Так шли сотни лет и тот мой взводный запасной старший унтер-офицер Ахтырец с серьгой в ухе и носом крючком, окающий по нижегородски и утиравший незаметно слезу, слушал песнь, как «поехал казак на чужбину далеко» - передал это наставление мне – молодому гусару присяги 1914 года. И что с одной стороны удивительно, а с другой стороны совершенно понятно – очень многое в этом наставлении прямо совпадало с заветами Суворова. И, конечно, и до Суворова дошли наставления в свое время, и он вник в них, и они помогли ему воспитать своих солдат и выиграть чуть не сто сражений. И, пожалуй, самое ценное, что было мне сказано, всего несколько слов, но, мне кажется, эти слова следовало бы положить в основу воинского обучения всех армий мира. Вот эти слова: «Если у тебя, когда-либо будет в подчинении хотя бы один солдат, помни, что ты отвечаешь за него перед Богом, перед начальством и перед своей совестью».

Австрийские полки против нас тоже шли шагом, и уже осталось около версты, казалось, даже лица уже были видны. Вдруг австрийский строй сломался, запылили взводы налево кругом и на рысях пошли обратно в лес. Не выдержали австрийцы. Мы, тоже разделившись повзводно, втянулись в лес и спешили. Так как австрийская артиллерия, молчавшая до этого, выпустила по нам несколько шрапнелей. В это время пехота австрийцев нажала на город и наши батареи, оставшись без снарядов, взяли на передки и хорошим галопом пошли уходить. Наши, два эскадрона остались в прикрытии. А затем батареи и мы за ними летели хорошим галопом по шоссе, под артиллерийским и пулеметным огнем. Орудия прямо прыгали с колеса на колесо. Потерь было немного. Убитых не помню, а ранеными человека три-четыре и несколько коней. У батарейцев еще в городе на площади был убит Поручик Д.

Стали подходить к Бугу. (24) Как-то раз идем по дороге – картина обыкновенная: трупы людей и лошадей и разбитые повозки. Слева показался какой-то завод. Вскоре выяснилось – спиртной. Его прошел наш левый разъезд и когда он вернулся к эскадрону, то меня приятели угостили – дали хлебнуть неочищенного спирта. Я выпил, закусил корочкой хлеба и больше ничего не помню. Мы уже подходили в это время к деревне на ночлег. Мне потом рассказывали, что я, выпив спирту, сразу стал валиться с лошади, и меня пришлось держать. На ночь был назначен полевой караул для собственного охранения, и я попал туда караульным начальником. Меня отнесли туда на руках, и я проспал всю ночь, как убитый. Хорошо, что офицеры ничего не заметили. На голодный желудок и истощенный организм спирт подействовал, как яд и я, можно сказать, прямо потерял сознание. После мне рассказывали, что на этом спиртовом заводе творилось что-то невообразимое. Пьяные жители: мужики и бабы пьяные пехотные солдаты, трупы, валяющиеся на полу в разлитом спирте; пьяные стреляли друг в друга. Гусары даже побоялись зайти в подвал, от такой картины им жутко стало.

За время отступления от нашей дивизии отстало несколько разъездов и один полуэскадрон драгун и улан. Не помню, были ли люди от нашего полка. Они остались за фронтом и скрывались в лесах и их, конечно, считали пропавшими без вести. Вдруг уже в середине лета они появились все вместе, и вышли на наши позиции, где-то около Румынии. Потерь у них не было, а только все изодрались в лохмотья.

Через Буг мы перешли вброд около города Порицка. (25) Около суток стояли в городе. Я был в карауле на пивоваренном заводе и там попил пива в свое удовольствие. Во избежание повального пьянства пиво выпустили в реку: оно текло прямо потоком, жители с ведрами старались черпнуть, несмотря на окрики часовых и тащили домой.

Из Порицка мы пошли в наступление за Буг. На противоположной стороне реки находился ровный луг, тянувшийся примерно на три версты, потом начинался лес, а правее леса располагалась деревня. Головные части уже прошли вперед, а наш полк шел в походной колонне между лесом и деревней. В одном месте дорога поворачивала влево. На повороте стоял крест, каких много в Галиции и большая елка. Наш эскадрон прошел мимо креста, когда из-за деревни началась стрельба по нашему 4-му взводу и 2-му эскадрону. Командир 2-го эскадрона скомандовал «Налево кругом!» и наши 3-й и 4-й взводы, услышав команду, по ошибке повернулись и начали проходить обратно под обстрелом. Судя по выстрелам, австрийцев было не более полуроты, они били беглым огнем вдоль улицы и пули ложились как раз по кресту и по елке, с которой сыпались ветки. Когда дошла очередь до меня проскочить обстрел, я увидел лежавших в пыли двух коней и одного гусара и заметил в тоже время, что пули бьют на высоте

головы всадника. В этот же момент я увидел слева от себя нашего командира Кмита на его рыжей кобыле в кожаной куртке со стэкком. Я лег на шею лошади, дал шпоры и проскочил благополучно, через секунду около меня выскочила рослая рыжая лошадь без всадника. Я даже не узнал сразу командирскую кобылу. Как только наши выскочили из под обстрела, сразу спешили и перешли в наступление. Правый фланг пошел в деревню, а я, вахмистр и взводный бросились искать командира. Нашли его лежащим у придорожного креста. Осмотрели и не сразу обнаружили крохотное отверстие на уровне сердца, крови было с пятнышко в два пальца шириной. Бедный Кмит был убит наповал. Достали в деревне подводу, и эскадрон без шапок привез командира на стоянку. Гусары любили Кмита, многие плакали. Говорили: «Не будет у нас больше такого командира».

На следующий день отслужили панихиду, и пошли на позиции. Эскадрон принял Штабс-Ротмистр Волков. Заняли мы старые окопы на обрывистом берегу Буга, возвышавшимся над противоположным низким берегом противника. Позиция была хорошая, но у нас не было достаточно снарядов и патронов. Уже давно наши орудия молчали, берегли последние снаряды. Мы собирали патроны по дорогам, не только пачками и обоймами, но и по одному: чистили и мыли их от грязи и набивали свои подсумки и патронташи. Наши окопы проходили по кладбищу с небольшой полуразрушенной часовней. Погост был изрыт воронками, повсюду были вывороченные плиты, валялись кресты и даже гробы с костями.

Вскоре немцы стали громить нас шестидюймовыми орудиями, и не прекращали обстрела около суток. Убитых у нас было мало, так как коннице всегда приходится растягивать цепь и стрелок от стрелка находился на порядочном расстоянии. От разрывов, гула земли, дыма и постоянных сотрясений воздуха, к концу дня рвало, чуть ли не всех.

Запасному ефрейтору Карасеву, пришедшему со мною из Борисоглебска, отбило осколком ногу в колене. Нога с сапогом висела на лохмотьях кожи. Я ножом обрезал кожу и пытался унять кровь: перетянул ногу своим поясом, но кровь хлестала фонтаном. Фельдшер был контужен или ранен. Извели все индивидуальные пакеты, что смогли достать. Карасев даже не стонал, а только хрипел и курил беспрерывно. Вынести его было нельзя из-за беспрерывного, сильного обстрела. Часа через два гусары позвали из 4-го эскадрона одного запасного пожилого гусара с бородой, сказали, что он умеет заговаривать – останавливать кровь. Он пришел, нагнулся над раненой ногой, перекрестил рану и начал что-то шептать. На наших глазах кровь перестала пробиваться сквозь перевязку, и кровотечение остановилось. Ночью Карасев скончался от сильной потери крови.

Во время этого обстрела, австрийцы пытались перейти через Буг, и первый раз в жизни я видел не цепи, а колонны идущие в атаку. Говорили, что немцы поили и давали солдатам кокаин. Не знаю, насколько это правда, но в действительности в этот день мы отбили несколько атак противника в сомкнутом строю. Наши пулеметы валили австрийцев кучами. Противоположный низкий берег местами был серо-синего цвета, усеянный трупами.

Выйдя из окопов, мы встали на ночь в поле. Вдруг слышим крики, шум и из леса на шоссе начинают вылетать карьером повозки, санитарные линейки, бегут люди, скачут конные. Слышим крики: «Противник прорвался!». Паника неопишная. Повозки налетают друг на друга, валятся в канавы и разбиваются. Послали сразу несколько разъездов в лес выяснить, что там произошло. Повел и я разъезд от своего эскадрона. Поначалу я пытался остановить несущийся поток паникеров, но никакая ругань не помогла. Ни у кого не могли выяснить, отчего такая паника. Никто ничего толком не знал. Тогда мы вошли в лес. Противника там не обнаружили. Когда несколько успокоилось, то выяснилось, что через лес скакал казак и крикнул кому-то: «Провод порвался». Не расслышав хорошо, стоявшие там обозы решили, что «прорвался противник» и кинулись наутек.

Во время боев на Буге мне пришлось однажды видеть жуткую картину. Мимо нас тянулся длинный обоз санитарных линеек и на козлах одной из них сидел унтер-офицер гвардейский драгун. У него была буквально снесена половина нижней челюсти. Другая половина отвисала, и виден был почерневший распухший язык. Кровь крупными каплями капала ему на гимнастерку. Он спокойно курил и дружески кивнул мне, когда я дал ему несколько папирос.

В этот день мы заняли старые пехотные окопы у деревни Бараньи Перетоки, а наши коноводы остались в деревне. К этому времени я совершенно ослабел от переутомления и от дизентерии. Многие наши гусары, здоровенные хохлы измотались до того, что ходили как тени и на ноги поднимались, держась за стенку. Седлали коня двое-трое человек. Один был не в состоянии положить правильно вьюк на лошадь.

Как-то сидели мы в сарае около своих коней. Со мной рядом молодой гусар Ш. Он всегда помогал мне убирать и седлать коня. Сидим, беседуем и вдруг слышим, по деревне бьют трехдюймовки. Одна из шрапнелей угодила в крышу сарая, которая загорелась. Между мной и Ш. небольшой кусок зарылся в землю. Быстро вывели коней и вынесли вьюки. Обошлось благополучно.

На рассвете следующего дня было приказано перейти в наступление. Я и три гусара со мной пошли охотниками резать проволоку у немецких окопов. У меня в кармане лежала бумага об отправке меня в лазарет, и я побаивался, что меня может в последний день ранить или убить. Действительно чуть так оно и не случилось. Взяли мы ножницы для проволоки, лопаты, винтовки и штук по 50 патронов. Поползли шагов на 40 один от другого, я был на правом фланге. Ночь стояла тихая и темная. Подполз я под заграждения и начал тихонько резать. Первое заграждение, я уже прорезал, а второе было не на кольях, а на железных кругах, обтянутых колючей проволокой. Когда я начал резать, заграждение осело на меня, и я застрял. В это время немцы начали усиленно бросать осветительные ракеты и бить из пулеметов. Я лежу в своем окопе под проволокой, выползти назад не могу, проволока зацепилась мне за одежду и при каждом движении звонит. Режу около себя, но немцы так сыпят из пулеметов, что все время земля мне летит в глаза. Боюсь, что уже недолго осталось до рассвета и тогда мне крышка. Углубляю все время окоп, пулеметы очередями двигают бугорок земли около моей головы. Не думал я оттуда живым выбраться, но видно, Бог не без милости: отцепился и также ползком, совершенно обессиленный вернулся к своим. Что было дальше - не знаю. Меня стало рвать, сделалось дурно. Мой полк ушел в наступление, а я к коноводам и на следующее утро пешком добрался до ближайшего полевого санитарного пункта.

Позже я узнал, что в этот день, после боя, шальной пулей на излете был убит мой приятель Валя Тимофеев, вольноопределяющийся 7-го драгунского Кинбурнского полка. Он сидел с другим вольноопределяющимся Серницким у костра. Бой кончился, и стрельба прекратилась. Когда Валя упал, то Серницкий не мог долго найти рану. Пуля попала прямо в сердце, и крови не вышло ни капли.

Из санитарного пункта меня отправили во Владимир-Волынский (26), где я попал в лазарет, расположенный в казармах нашего Белорусского полка. Видимо в этом районе были тяжелые бои. Все было забито ранеными и больными. Я попал в манеж, где на соломе лежали сотни тяжелобольных и раненых. Персонала не хватало. Сестры и санитары совершенно сбились с ног и не успевали поспеть повсюду. Все время выбирали легкораненых, грузили на поезда и отправляли в тыл.

Я лег на солому и заснул, как труп. Сколько времени я проспал, не знаю, но, очнувшись, почувствовал себя немного окрепшим. В манеж складывали безнадежных раненых, эвакуировать которых не имело смысла. Люди умирали все время. Около ворот лежала груда трупов, одни на других и, когда их уносили, то груда быстро накапливалась опять.

Рядом со мной лежал пожилой артиллерист с бородой. Однажды утром, я проснулся и вижу, что он уже остыл. Видно скончался ночью. Неподалеку от меня на носилках лежал пехотинец. У него вся грудь была забинтована, но он двигался больше других и, даже ходил. В один из дней он сел на свои носилки, вздохнул и сказал: «Ох, помру я, братцы». Потом лег и через несколько часов умер.

В этом манеже пролежал я несколько дней, отсюда меня перевели в казарму на кровать. Там я встретился с одним гвардейским драгуном, больным туберкулезом и терским казаком с большой раной на ноге. Конница всегда держится вместе, мы быстро познакомились и стали помогать друг другу. Драгун едва дышал, но с лица выглядел совсем не плохо. Казак, здоровенный малый, но рана никак не заживала. А я, бледный, худой и зеленый, еле хожу, но, в общем, ничем особенно не болен. Доктора не имели времени никого серьезно осматривать, а просто определяли: на фронт, в поезд для эвакуации, или оставаться в лазарете. Нам всем троим, определили: на фронт. Видим, что дело дрянь. Посоветовались с одним фельдшером (попался хороший парень), и он посоветовал: отдать белье в стирку и тогда нас задержат еще на сутки, а за это время обстановка может измениться. Собрали мы свои лохмотья и отдали ему. Вероятно, благодаря этим отрепьям остались мы живы и целы. На следующий день в лазарете все стекла содрогались, канонада придвинулась к самому городу. Срочно подали состав, погрузили в него всех, хоть сколько-нибудь живых и повезли в город Минск.

По дороге я всюду пытался узнать, где мой отец. Варшава была только что сдана и Управление Привислинской железной дороги, где он служил, было эвакуировано в неизвестном для меня направлении. Ни у кого из станционных железнодорожников я не смог ничего добиться. По всей видимости, никто из служащих ничего толком не знал, а, кроме того, меня грязного, небритого,

оборванного солдата к начальству не допускали. Наконец на одной из маленьких станций я встретил симпатичного инженера, которой принял во мне участие. Тожественность имени, отчества и фамилии убедила его, что действительно мой отец – его начальство. Он дал мне 10 рублей, так как я был без копейки и послал вдогонку отцу телеграмму. Отец с управлением эвакуировался в Москву.

В Минске я попал в 1-й Сводный госпиталь. Старое здание, низкие палаты – набитые битком, раза в два против нормы. Кровати у стен стояли по две, а то и по три рядом и средний пациент, был вынужден лазить через спинку. В проходах кровати стояли по две в ряд в длину всей палаты. Моя кровать располагалась в углу, одно окно была в ногах, а другое около головы. Оба окна были открыты, но свежего воздуха не хватало. Когда я прибыл, и сестра милосердия заполняла сведения обо мне, то произошел следующий забавный диалог: «Какими болезнями болели раньше?». Я ответил: «Дизентерия, перитонит, туберкулез позвоночника». Сестра перебивает меня: «Ты фельдшер?» Я отвечаю: «Никак нет, студент Московского университета». Сестра очень смутилась, а я ей говорю: «Что за пустяки, не написано же на мне, что я студент, солдат, как и все другие».

В госпитале умирало колоссальное количество больных. Где-то рядом был холерный барак, и оттуда вывозили гробы, политые известью. И у нас в палате примерло не мало.

Когда я начал ходить, то меня и еще нескольких вольноопределяющихся, научили вспрыскивать камфару, и нам приходилось ее колоть каждую ночь 10-20 человекам. Персонала не хватало и на четверть количества больных, и все валялись с ног от усталости.

В нашей палате лежали рядом двое запасных солдат лет 40-45, бородатые мужики, родом с севера. К вечеру каждого дня они начинали рассказывать сказки, былины, разные анекдоты и прибаутки. Вокруг них собиралось половина палаты, слушатели лезли друг на дружку, чтобы не пропустить ни одного слова. Слушали, буквально затаив дыхание, а рассказчики по очереди говорили без остановки часа по три. Не удивляюсь, что солдаты слышали их, раскрыв рот, когда я их послушал, то поразились и содержанию и умению рассказчиков. Таких вещей я в своей жизни никогда не слышал, и жалею, что тогда не записал хоть что-нибудь.

В этом госпитале я пролежал около месяца. Наконец меня выписали и с партией солдат мы пошли через город на пересыльный пункт на вокзале. Там переночевали, воздух был очень тяжелый. Наутро отобрали нас человек 40 кавалеристов и отправили по запасным частям. Я в числе 10 человек был направлен в Борисоглебск, прибыв туда, я убедился, что здесь, в общем, все было по старому. Назначение я получил в 5-й маршевый эскадрон. Меня, как унтер-офицера и Георгиевского Кавалера не тревожили никакой службой, и я прожил две недели в ничегонеделании: спал по 12 часов и ел за двоих. Чувствовал же я себя все же незавидно. Случались частые головные боли, слабость и головокружение.

Еще из Минска я списался с отцом, получил от него деньги и оделся для солдата шикарно. В Борисоглебске я получил от отца письмо, в котором он извещал меня о моем устройстве в Николаевское Кавалерийское училище. Теперь уж я не собирался упираться и решил, что довольно повоевал солдатом. С радостью я выехал в Петроград, по дороге заехал на несколько дней домой в Москву. Дома все было в порядке. Мама была здорова. Младший брат поступил вольноопределяющимся в артиллерию, и его батарея стояла в Москве.

Прибыв в Петроград, я явился в училище, но почти с первых же дней начал болеть. Однажды на вольтижировке свалился и упал в обморок. Валяться без конца в лазарете меня не устраивало. В это время, в Августе 1915 года в училище съехались вольноопределяющиеся, и прапорщики запаса кавалерийских полков держать экзамен на чин Корнета за полный курс мирного времени. Я пошел к начальнику училища генералу Марченко^{27 11} (27) и попросил его разрешить мне держать экзамен с ними. Получив разрешение, я выписался из училища и поселился на частной квартире с вольноопределяющимся Белгородского уланского полка Алиханом Алдаковым. С ним я прожил всю осень. Вместе зубрили и вместе сдавали экзамены, а иногда и вместе кутили. 26 Октября я сдал свой последний экзамен, прошел по 1-му разряду и получил год старшинства в корнетском чине.

В это время жизнь тянулась очень однообразно. Учились целый день и выходили только обедать в столовку Технологического института на Загородном проспекте.

Я заблаговременно послал докладную записку в Дагестанский конный полк, с просьбой о принятии меня, но ответ все не приходил. Написал я и в Белорусский полк, прося согласия на свой перевод, но

²⁷ Митрофан Константинович Марченко (1866–1932), генерал-майор, нач. Николаевского кав. училища (с 1912).

оттуда ответа также не было. Из-за этого дело мое тянулось и производство мое все откладывалось. Так пришлось мне прожить в Петрограде еще около двух месяцев. В этот время я внезапно заболел цингой, да еще в такой тяжелой форме, что едва не умер. Выходили меня Алихан и одна милая барышня, с которой я познакомился в институтской столовой. Лежал я у себя на квартире. Я был так плох, что слабо помню, все происходящее. Помнится только, что кожа во рту отваливалась кусками, и я все время ее выплевывал. Доктор говорил, что это могло быть последствием изнурения и недоедания в течение всего лета.

В своей жизни я довольно редко видел сны, но один сон в Петрограде поразил меня своей реальностью и силой физического ощущения, продолжавшегося даже, когда я уже проснулся. Спал я на своей походной кровати, и надо мной была вешалка, на которую я всегда на ночь вешал свою гимнастерку. Просыпаюсь я утром и ясно чувствую, что вся грудь у меня забинтована и стянута. Я чувствовал это так отчетливо, что даже несколько мгновений боялся пошевелиться, чтобы не причинить себе боль. Сразу же вспомнилось, что во сне мне кто-то показывал мою гимнастерку и над левым грудным карманом около Георгиевского креста, я видел дырочку и на спине тоже дырочка и бурое пятно пальца в 2 диаметром с темными краями. Судя по отверстиям и пятну убит наповал, а, судя по ощущению – тяжело ранен. Все это было так реально, что я, как дурак, вскочил с кровати и осмотрел свою гимнастерку. После уже в Дагестанском полку я рассказывал этот сон на всякий случай, но, как видно, Бог меня хранил до самого конца войны.

Живя в Петрограде, мы должны были периодически предъявлять в Комендантское управление свои удостоверения, чтобы нам продлили срок пребывания в столице. Я всей душой хотел уехать скорее, но, не имея бумаг, не мог получить ни производства, ни выехать в Дагестанский полк. У коменданта в канцелярии был один писарь, редкая сволочь, который не мог или не хотел понять, что мне нужно и почему я сижу в Петрограде, а вернее всего, просто хотел получить с меня «трёшку» за услугу. Я с ним дважды поругивался и однажды, когда я пришел в канцелярию, он взял мое удостоверение и, пока я писал докладную записку, отнес его к адъютанту. Последний, выйдя из своей комнаты, накричал на меня за мою расстегнутую шинель, (я расстегнулся, чтобы вынуть перо и бумагу) и потребовал у меня удостоверение. Я ответил ему, что передал документ писарю, который отнес его ему в кабинет. Тогда адъютант без околичностей приказал арестовать меня, как солдата без документов. Посадили меня раба Божиего в небольшую камеру, полную всякой босотой, едва нашел место себе на нарах. Боялся я, чтобы ночью не обокрали меня мои соседи, и почти не спал. Утром выпускали одного солдата, и я успел передать ему записку к знакомым. Часа через четыре вызывают меня к коменданту в канцелярию, и вижу я там нашего эскадрона Корнета Нечаева. Обрадовался я ему, как отцу родному и на следующий день мы с ним выехали из Петрограда. По дороге заехали в город Глухов в конский лазарет нашей дивизии. Там по рецепту врача достали спирту и коньяку целый ящик (зачем, собственно, коньяк для конского лазарета?), и устроили пьянство на три дня.

Наш полк стоял на отдыхе под городом Ровно. Я явился в свой эскадрон и прожил там с месяц на офицерском положении, абсолютно ничего не делая, пока не пришел вызов из Главного Штаба для моего производства.

Так закончилась моя служба в 7-м Белорусском гусарском полку.

Белград 19 Мая 1940 года.

¹ Князь Мещерский Александр Александрович. Нижегородский кадетский корпус 1895, Александровское военное училище 1897. Штабс-капитан 137-го пехотного полка, с 1907 в отставке капитаном. Земский начальник в Верейском у. Расстрелян большевиками 9 июня 1927 в Москве

² Князь Долгоруков Павел Дмитриевич, р. 9 мая 1866 в Москве. 1-я Московская гимназия, Московский университет 1890. Статский советник. Член Государственной Думы. 1918 член и тов. председателя Национального центра. В Добровольческой армии и ВСЮР; с 10 окт. 1918 в Осваге. Эвакуирован до авг. 1920 из Новороссийска. В эмиграции с 1920 в Константинополе, Белграде, Париже, Варшаве. 1921 член Русского Совета. Арестован 1926 в Харькове после перехода границы СССР. Расстрелян большевиками 9 июня 1927 в Москве.

³ Константин Карлович Ригер окончил в 1907 г. Тверское кавалерийское училище с выпуском в 3-й драгунский полк.

⁴ Ратомский-Кмитто Иван-Филипп Карлович, р. 1876. В службе с 1896, окончил кавалерийское юнкерское училище, в офицеры произведен в 1898 в 7-й гусарский полк. Ротмистр с 1910. Убит 1916 в том же полку.

⁵ Волков Андрей Дмитриевич, р. 17 окт. 1884. Елисаветградское кавалерийское училище 1905. Подполковник 7-го гусарского полка. 1918 в гетманской армии; войсковой старшина 7-го Владимир-Волынского конного полка, 26 окт. 1918 установлено старшинство в чине с 19 нояб. 1916. Во ВСЮР и Русской Армии в штабе войск армейского потового района до эвакуации Крыма. Полковник. Эвакуирован в Катарро (Югославия) на корабле "Истерн-Виктор". В эмиграции в Югославии и Франции. Ум. 15 фев. 1950 во Франции.

⁶ Нечаев Александр Семенович. Тверское кавалерийское училище 1914. Офицер 7-го гусарского полка. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. На 18 дек. 1920 в составе 2-го кавалерийского полка в Галлиполи. Полковник (подполковник). В эмиграции в Югославии, в 1931 возглавлял группу Объединения офицеров 7-го гусарского полка в Скопье. Служил в Русском Корпусе.

⁷ Натензон Сергей. Елисаветградское кавалерийское училище 1910. Ротмистр 7-го гусарского полка. 1918 в гетманской армии; младший адъютант гетмана, 20 нояб. 1918 переименован в чин сотника (ств. 1 мар. 1917). Убит дек. 1918 в Киеве.

⁸ Одноглазов Георгий Федорович, р. 3 фев. 1871. Из дворян, сын офицера ВВД, казак ст. Мелеховской. Донской кадетский корпус 1890, Николаевское кавалерийское училище 1892, академия Генштаба 1900. Генерал-майор, начальник штаба 2-й Оренбургской казачьей дивизии. В белых войсках Восточного фронта; генерал-квартирмейстер штаба Южной армии, с 15 дек. 1918 генерал для поручений при командующем той же армией, 16-21 фев. 1919 начальник штаба 4-го Оренбургского армейского корпуса, с 17 мар. 1919 генерал для поручений при командующем Оренбургской армией, 27 мая - окт. 1919 начальник штаба походного атамана всех казачьих войск и генерал-инспектора кавалерии. Взят в плен, весной 1920 в Омском концлагере.

⁹ Фон Гилленшмидт Яков Федорович, р. 21 окт. 1870. Пажеский корпус 1890. Офицер 1-й конно-артиллерийской батареи и л.-гв. Конной артиллерии, командир 17-го драгунского полка, л.-гв. Кирасирского Его Величества полка и л.-гв. Конной артиллерии. Генерал-лейтенант, командир 4-го кавалерийского корпуса. Георгиевский кавалер. В Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского ("Ледяного") похода. Погиб в апр. 1918 при попытке проваться из окружения из колонии Гначбау.

¹⁰ Ротмистр Аполлон Карбовский был произведен в офицеры в 1900 г. и служил в 6-м гусарском полку, затем в ведомстве МВД, в 1905-1906 гг. был в отставке. К началу Великой войны – в 7-м гусарском полку.

¹¹ Марченко Митрофан Константинович, р. 3 сен. 1866. Училище правоведения 1887, офицерский экзамен при Константиновском военном училище 1888, академия Генштаба 1896. Офицер л.-гв. Конного полка, командир 19-го драгунского полка. Генерал-майор, начальник Николаевского кавалерийского училища. В эмиграции во Франции. Ум. 7 авг. 1932 в Париже.